

- [Нилин Павел](#)

-

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Нилин Павел

Последняя кража

Павел Нилин
Последняя кража

В человеческой судьбе много самых неожиданных изгибов, поворотов, случайных и странных. Буршин, может быть, не стал бы вором, если б не такой вот случайный поворот. Он стал бы приказчиком, официантом или, в лучшем случае, слесарем, к чему имел несомненные склонности.

Особую его склонность к слесарному делу признавал и Алексей Дудыкин, владелец небольшой мастерской и скобяного магазина в Театральном проезде в Москве. Но Дудыкину казалось, что мальчишка заносчив чрезвычайно, непочтителен к старшим. И однажды, после краткого разговора, вспылив, хозяин выгнал мальчишку из магазина и в дверях еще дал подзатыльник ему.

Буршину было десять лет. Он весь день просидел на холодных ступенях Большого театра. Он не знал, что делать ему, куда идти. Он был совершенно одинок в огромном городе.

В кармане его холстинных штанов было двадцать копеек.

Двадцать копеек - это бездна удовольствий для мальчишки: это увлекательная игра в кегельбан на базаре, это леденцы и сайки, это сладкий квас и сладкие петушки на палочках.

Но Буршин был серьезен.

На две копейки он купил хлеба, на пятак - селедку и чай, а на остальные - керосину и ночью облил керосином четыре угла деревянного дудыкинского дома.

Подожженный дом осветил тишайшую осеннюю ночь.

Очарованный мальчик стоял на углу и смотрел на багровое зарево.

По-улице скакали какие-то сказочные всадники, гремели пожарные бочки, и надсадно свистел в кулак похожий на памятник городской.

А мальчик все стоял и стоял на углу, не в силах оторваться от зловещего зрелища. Из глаз его катились слезы. Они катились не от раскаяния, но от дыма, коловшего глаза.

Пойманный, он не мог уже плакать. Он выплакал все свои слезы и молча шел с городовым, который вел его за руку. А позади шел второй городской, придерживая на ходу трепетавшую шашку. И мальчику было

приятно такое исключительное внимание к его особе.

Это был самолюбивый и своевольный мальчик.

Из колонии для малолетних преступников, куда поместили его для исправления, он бежал через шесть дней и снова был пойман только через три года, теперь уже как стремщик большой грабительской шайки.

В тюрьму вошел новый вор.

Полиция сфотографировала его анфас и профиль, взяла дактилоскопические отпечатки и записала для памяти краткую его биографию.

Но ни биография эта, ни особые приметы, ни отпечатки ничем не удивили полицию. Буршин был обыкновенный вор. Он неукоснительно повторял историю своих предшественников, шаблонную, в сущности, историю.

В тюрьме нашелся сердобольный старичок из профессиональных ширмачей, иначе говоря - карманников, которому мальчик очень понравился, и он со скуки стал учить его грамоте по обрывку старой газеты, обычно употребляемому на сигарки. Буршин учился прилежно, с большой охотой.

Из тюрьмы он вышел грамотным во всех отношениях. Некий Гржезинский, пожилой медвежатник, или, иначе говоря, шниффер, пожелавший на старости лет передать в надежные руки редкое и рискованное свое ремесло, пригласил его к себе в напарники по взлому сейфов и несгораемых шкафов.

Буршину просто повезло. Гржезинский принадлежал к старинному роду высококвалифицированных преступников, мастеров так называемого шниффера. Он в запальчивости утверждал, что его предки и сородичи изобрели все древнейшие и новейшие способы ограбления денежных хранилищ и действовали в этом направлении чуть ли не во всей Европе. Он, конечно, хвастался, преувеличивал, но бесспорно было одно - сам он выдающийся специалист по вскрытию сейфов. За ним числились десятки таких преступлений, о которых в свое время под рубрикой "Происшествия" писали многие столичные и провинциальные газеты.

Буршину, случайно попавшему на выучку к Гржезинскому, таким образом, сильно повезло.

Одинокий Гржезинский полюбил его, как сына. Он водил его с собой на преступления, открывал ему тайны преступного своего ремесла и при этом не только учил воровским принципам, но и внушал ему особые житейские принципы.

Он говорил, что мир устроен для сильных, что только сильные имеют

право на жизнь. Им предоставлены все удобства. И не важно, чем занимаются они грабежом, торговлей или коммерцией. В мире царствуют только деньги. И только деньгам покоряется человек.

Гржезинский повторял это очень часто. Он был философом. По вечерам читал библию, пел псалмы и часто пил запоем. В запое он видел источник постоянных своих неудач, но ничего поделать не мог.

Буршин слушал его внимательно. Ходил за ним неотступно. Вместе с ним два раза попадал в тюрьму и сидел в одной камере. И в тюрьме продолжал учиться. Упорно, прилежно, старательно.

Люди учатся так, чтобы стать слесарями, механиками, инженерами. Он учился так, чтобы стать вором. Настоящим, квалифицированным, первоклассным.

В двадцать лет, после смерти учителя, замученного запоем, Буршин стал работать самостоятельно. Он знал уже все приемы. В совершенстве овладел искусством не только выбирать объект и быстро производить операцию, но и умением хладнокровно и тщательно заметать следы. Знал, кому, как и какую взятку давать и кому не давать. И никогда не ошибался в этом.

Изредка он все-таки попадал в тюрьму. Но и в тюрьме чувствовал себя неплохо. Воры беспрекословно уступали ему лучшее место, лучшие нары, лучший кусок. Он был для них главарем. Он владел редчайшей воровской специальностью, которой мог бы позавидовать любой, пусть даже самый удачливый вор. И любой позавидовал бы его внешности, его телосложению, на редкость крепкому.

Буршин сделал блестящую воровскую карьеру.

Внешне - в лайковых перчатках, в котелке, в заграничном драповом пальто - он походил теперь на фабриканта, на наследника богатой фирмы, на потомственного барина. И на всякий случай у него была заготовлена подходящая биография. Он говорил, что отец его был генералом, а мать жива и до сих пор, она помещица в Калуге.

Настоящая же его мать жила в кухарках в Коломне. Она сделала для него все, что могла сделать мать-кухарка, записанная в паспорте девицей. Она отправила его, девятилетнего, в столицу, на обучение в магазин, дала ему рубль денег, буханку хлеба, пучок зеленого лука и сказала на прощание, горько плача:

- Ты один, Егорша. Как перст, один. Помни это. И не балуй.

Она сказала все, что могла сказать. Она мечтала, что сын пойдет по торговой части. Но сын пошел по тюрьмам.

За пятнадцать лет он обошел больше десятка тюрем. Совершал

ошибки, делал промахи. Но от ошибок не был свободен и его учитель.

Однако Буршин превзошел учителя в умении изворачиваться, уходить от преследования. Довел это умение до виртуозности.

И наконец наступил период, когда он мог спокойно жить. Настолько спокойно, насколько это возможно для самого удачливого вора. Полиция получала свою долю и не беспокоила его без крайней необходимости. В домовую книгу было записано, что он коммерсант.

Как у всякого настоящего коммерсанта, у него была хорошая квартира. Были деньги, влиятельные знакомства. Был даже постоянный помощник. Что-то вроде личного секретаря. Некий Подчасов.

Подчасов работал поваром в Офицерском собрании. Но эта работа не была его главным занятием. Она служила только дымовой завесой для другого занятия, основного, прибыльного, секретного. Подчасов высматривал "объект", иначе говоря - шкаф, сейф, выяснял условия и докладывал патрону о своих наблюдениях.

И только после того, как вся обстановка, в которой находился объект, становилась совершенно ясной, патрон шел на "дело". С безупречной точностью опытного хирурга он вскрывал стальной и лакированный шкаф, неторопливо, но быстро потрошил его.

А Подчасов в это время бегал где-нибудь у входа и, по-собачьи вытянув голову, прислушивался к шорохам. Он очень сильно походил на собаку. Весь взъерошенный, согнутый пополам, с вытянутыми вперед руками, он, казалось, готов был каждую минуту встать на четвереньки и побежать, по-собачьи виляя незримым хвостом.

Буршин слегка презирал его, но все-таки дружил с ним, держал около себя. И Подчасов был единственным человеком, которому безгранично доверял Буршин.

Был у Буршина еще один человек. Некий Чичрин Василий. Слесарь. Замечательный слесарь-лекальщик. Он готовил воровские инструменты, ремонтировал их и хранил у себя. Он тоже пользовался доверием у патрона. Однако далеко не таким, как Подчасов.

У Подчасова была не только внешность собачья, но и собачья преданность своему патрону.

Буршин женился, обзавелся семьей. Но даже жена не знала о его делах всего, что знал Подчасов. Жена простодушно думала, что муж ее действительно коммерсант. О занятиях своих он никогда не рассказывал. И она привыкла не интересоваться ими.

Буршин вел свое дело очень тонко. Не бросался с горячностью маньяка на всякий сколько-нибудь подходящий объект. Тщательно выбирал

объекты. И преступления совершал не очень часто.

Кроме того, он непрерывно совершенствовал свои приемы. Разбирал детально не только каждую свою операцию, но и операции своих коллег.

Узнав из газет или из разговоров, что такой-то медвежатник завалился на крупном деле, Буршин посылал Подчасова выяснить причины этой неудачи. Все причины, все подробности.

Подчасов бродил по "малинам", по "хитрым хазам" и "кодлам" и добросовестно собирал интересующий патрона материал. Сам патрон без особой надобности старался не входить в какие-либо отношения с воровской средой. Он всегда презирал эту мелкую шпану.

Однако с крупными ворами, равными ему по положению, он тоже старался не заводить знакомств. Встречался с ними только в тюрьмах и только в тюрьмах поддерживал с ними дружбу.

Впрочем, едва ли эти отношения можно назвать дружбой. Это были вынужденные встречи главарей, всегда враждующих конкурентов. И приличие требовало, чтобы они не враждовали в тюрьме. Буршин не нарушал приличия. Всегда был предан воровскому этикету. В тюрьме говорил по-блатному, выполнял все правила хорошего воровского тона.

Но на свободе он вел себя совсем по-другому. Много читал, заводил знакомства среди молодых офицеров, купеческих детей, среди студентов и коммерсантов. И старался как-нибудь использовать эти знакомства, научиться чему-нибудь у этих людей и в конце концов устроить свою жизнь так же, как они, почтенно и прочно.

У него росли дети. Они были еще очень маленькие. Но надо было уже думать и об их судьбе.

Буршин не хотел, чтобы дети росли ворами. Хотел, чтобы они стали не хуже других - гимназистами, студентами. Хотел, чтобы они выросли хозяевами жизни, как люди, чье расположение он старался завоевать теперь.

Он старался теперь войти в круг солидных, независимых людей, о чьей силе восторженно говорил Гржезинский.

Незаконный кухаркин сын хотел стать коммерсантом. Не по паспорту, не по домовый книге, а по-настоящему. При этом он не собирался бросать свое старое ремесло. Нет, он искал только совместительства. Добротного, приличного совместительства, которое могло бы служить и хорошей вывеской. Искал очень долго. И наконец нашел.

Но тут грянула революция. Грянула совершенно неожиданно для него. Однако Буршин не испугался. Ведь он не князь, не граф, не помещик. Он просто вор. Впрочем, ворами тоже может не поздоровиться во время

революции.

Буршин, улыбаясь, вспоминал один печальный случай.

Этот случай был в пятом году. Буршин работал тогда еще вместе с Гржезинским. В качестве практических занятий ему доверялись иногда небольшие самостоятельные кражи. Одну такую кражу надо было провести в Москве, на Пресне.

Пресня была в огне. Буршин всегда любил рискованные положения. Он пробрался через линию боев, вышел к зданию, где находилась нужная ему касса, взломал ее и был весьма разочарован операцией.

В кассе, уже опорожненной кассиром, лежали только десять рублей и маленький револьвер "бульдог".

Буршин все-таки взял револьвер и деньги взял, чтобы не возвращаться с пустыми руками. И, опечаленный, опять побрел через линию боев, через вскопанные мостовые и поваленные заборы.

У Кудринской площади его остановили. Жандармы обыскали его. Нашли "бульдог". И, приняв за революционера, повели в участок.

У ворот участка были выстроены в два ряда полицейские, дворники и члены "Союза русского народа". В руках они держали поленья.

Буршина вместе с дружинниками прогнали сквозь этот строй. До участка он, однако, не добежал. Потерял сознание. И без сознания пролежал всю ночь.

А утром выяснилось, что он просто вор. Полиции было некогда возиться с ворами. Буршина выгнали на улицу. Он долго не мог оправиться после этой ночи. Но, оправившись, любил вспоминать эту ночь.

- Вот вам единственный случай, - говорил он, смеясь, в кругу товарищей по ремеслу, - когда я пострадал. И то по ошибке. А в общей сложности я жил безбедно.

Безбедно Буршин жил до Октябрьской революции.

Затем начались затруднения. Запись в домовой книге могла доставить ему большие неприятности. Нет, он теперь не хотел, чтобы его считали коммерсантом. Коммерсант - это значило, по новым временам, нетрудовой элемент, паразит, бывший человек. Это значило - плати налоги, подавай сведения о доходах. Буршина это не устраивало.

Он приобрел где-то новые фальшивые документы и попросил управдома изменить старую запись в домовой книге. По новым документам он числился старшим агентом кустарной артели "Красный инвалид".

Из этой же артели он часто получал командировочные удостоверения и разъезжал по многим городам. Дважды съездил в Сибирь и на Дальний Восток, побывал на Кавказе и в Средней Азии. Четырежды за два года

подвергался приводам в уголовные розыски разных городов, но трижды был отпущен за недоказанностью преступления, а один раз сбежал.

Он сбежал один раз, но этот случай был зарегистрирован в Ростове-на-Дону, и когда весной 1923 года его снова задержали в Иркутске, ему предъявили уже несколько совершенных им преступлений. Его повезли под конвоем в Москву.

Из архивов старой сыскной полиции были извлечены его прежние "дела". Как рецидивист, он должен был подвергнуться суровому наказанию, но ему опять повезло.

У здания суда он выпрыгнул из фургона и, раненный в бедро, все-таки ушел от преследования по дворам и узким московским закоулкам, знакомым ему с самого детства.

Он вынужден был уехать из Москвы, скитаться по дачным местностям, боясь показаться на глаза даже своим сообщникам, которые могли бы выдать его, чтобы самим отличиться.

Буршин становился особо недоверчивым, боязливым и нервным. И для этого были серьезные основания.

Большое, скуластое его лицо с немного выпуклыми, грустными глазами и оттиски пальцев - длинных, ширококостных, утолщенных на концах - были теперь известны почти во всех уголовных розысках страны.

Буршин понял, что взятки его больше не спасут, как спасали в старое время, что приходит конец, что ему не миновать расстрела и что коричневая борода может служить только вывеской отчаяния. Она надоела ему, эта искусственная борода, приклеенная в пору особенно плохих дел.

Он сорвал ее в первом же перелеске, переступив кордон, и долго смотрел, как плавала она в зеленой воде канавы...

В Варшаву Буршин шел уверенный, что она примет его.

И Варшава не разочаровала Буршина. Здесь он встретил друзей, с которыми сживал когда-то в российских тюрьмах. Некоторые из них стали здесь богачами. Заболоцкий, например, открыл шикарный ресторан и гостиницу "Полония".

Буршин пришел к Заболоцкому.

В "Полонии" Буршину отвели две комнаты и предоставили полный пансион. И все это совершенно безвозмездно, в память прошлого, в память молодости, которая прошла.

Она прошла в российских тюрьмах, на базарах, на воровских квартирах, эта позорная воровская молодость. Но все-таки Заболоцкому было приятно вспомнить ее.

В Варшаве Буршин устроился, пожалуй, не хуже, чем когда-то в

Москве. Даже лучше, пожалуй.

Опять в домовоей книге было записано, что он коммерсант, и никто не приставал к нему с нескромными вопросами.

Варшава в этом смысле была благословенным городом. Здесь можно было заниматься чем угодно. Важно только вовремя платить налоги или взятки. Особенно взятки. И всякой, пусть самой темной, личности предоставлялась вся полнота независимости и свободы. Варшава в этом смысле была свободным городом. Недаром крупные воры всего мира почитали ее своей священной Меккой. Как Чикаго, как Марсель, как Рим.

Воров в Варшаве было очень много. Их ловили, конечно, били в участках, сажали в тюрьмы, заковывали в кандалы. Но били только мелких, неквалифицированных воров.

Буршина в Варшаве не били.

Освоившись в новой обстановке, Буршин вскоре ушел от Заболоцкого. Он удачно провел два дела - вскрыл два шкафа в двух конторах, разделил добычу между участниками, взял свою долю и решил дальше жить и действовать самостоятельно.

У него была теперь своя квартира, свои деньги. У него не было только семьи, которая осталась в Москве.

В Москве остались жена и дети.

Буршин сильно скучал о детях. Он был не настолько молод, чтобы думать о второй семье, чтобы обзаводиться второй семьей. Он постоянно думал о первой. Он думал о том, как лучше перевести семью из Москвы в Варшаву.

Однажды он написал об этом жене, но ответа не получил. Это взволновало его. Однако он не потерял надежды, что когда-нибудь все устроится само собой. Добудет большие деньги, откроет ресторан, кофейню или магазин, выпишет семью - и все пойдет как надо.

Буршин завидовал людям, которые имеют денег меньше, чем он, но живут все-таки лучше его, по-человечески нормально, семейно и спокойно. Зависть иногда переходила в хандру. Начинать пить. Как в молодости, ходил по первоклассным ресторанам. И за ним ходила неотступно большая компания прихлебателей.

Эта компания пила на его деньги, пропивала будущие его магазины, рестораны, кофейни. Пропивала его мечту. Но она же удовлетворяла его врожденному тщеславию. Пейте и ешьте! Буршину ничего не жалко, он богатый человек. И завтра, если захочет, будет еще богаче. Он богаче в десятки раз Алексея Дудыкина, который хотел когда-то лишить его куска хлеба за непокорность и выгнал из магазина. Где он теперь, этот

толстомордый, прыщеватый урод?

Ярость просыпалась в человеке неожиданно и страшно. Вспыхнув, пьяный до ослепления, он ломал и мял ресторанный обстановка, бил посуду и, дойдя до высшего градуса безумия, разгонял почтенную публику стулом, палкой, кулаками. Он позволял себе то, чего никогда не позволил бы в трезвом виде, - осторожный, хладнокровный и немножко грустный человек. Разогнав гостей, он оставался один. И тогда во всем мире были только два человека - дочь и сын, которых он искренне любил. Это дети его. Он должен думать о детях. Для них должен добывать деньги, должен жить по-волчьи, в вечном напряжении, в беспокойстве, без веры в завтрашний день. Что может случиться завтра? Может быть, завтра его убьют на месте преступления, выдадут связчики или продаст полиция, когда ей выгодно будет его продать...

Буршин к старости стал искать оправдания своему ремеслу. И нашел его в том, что у него есть дети, о которых он должен заботиться.

Больше десяти лет Буршин прожил в Варшаве и все время оправдывал себя этой мыслью о детях, хотя дети давно уже стали для него иллюзией, далеким миражем, приятной выдумкой. Он ничего не знал о своих детях. Но все-таки думал о них. И для них, для их обогащения, как казалось ему, он предпринял рискованную гастроль из Польши в соседнюю маленькую страну.

В этой стране, в одном провинциальном банке, надо было взломать несколько сейфов.

Был хмурый день, когда он выезжал из Варшавы. Ветер гнал по перрону пыль и ржавые листья. Собирался дождь. Буршину было грустно.

Всякому человеку бывает грустно в такие дни. Но Буршину было особенно грустно. Он просто не знал, куда девать себя. Нетерпеливо шагал по перрону в ожидании поезда. Потом увидел знакомого старичка киоскера и подошел к нему.

- Нет ли русских газет?

Старичок спросил:

- Каких? Парижских?

- Нет, - сказал Буршин, - московских.

Старичок полез, как в нору, под широкий прилавок киоска и вытащил оттуда газету "Известия".

Буршин дал ему целый злотый и вошел в вагон.

В вагоне сейчас же разделся, лег на нижнюю полку и развернул газету.

В газете большое место было отведено международной информации. Буршина это не интересовало. Потом шли длинные статьи о каких-то

хозяйственных делах. Это тоже не интересовало Буршина. В этом он просто ничего не понимал. Домны там какие-то, мартены, хозрасчет...

Вагон качало. Буршина начала одолевать дремота.

Хотел уже отложить газету и уснуть, но в этот момент его внимание привлек большой снимок. На снимке улыбались десять парней и девушек. Буршин удивленно прочел под снимком свою фамилию. Было написано: "Буршин Иван"...

Может быть, это однофамилец? А может быть, это сын? Сыну было бы сейчас семнадцать лет. Это он, должно быть. Широкие скулы, как у отца, такой же серьезный взгляд исподлобья. Нет, это несомненно сын Буршина. Значит, у Буршина два сына - Иван и Яков. И еще дочь - Наталья.

В газете было написано, что Буршин Иван, как девять его товарищей, отлично окончил школу, ударник учебы. Значит, бойкий парень. Бойкий в отца.

А отец его, старый жулик, шляется где-то по заграницам, хитрит, ворует.

Дети растут без него. Они выросли уже. Выучились. Выучились без отца. Им плевать теперь на отца, который бросил семью на произвол судьбы и никогда двух золотых не послал семье в подарок. Кому нужен такой отец? Дети больше будут уважать какого-нибудь чужого дядю, нового мужа их матери.

Она, наверно, уже вышла замуж.

Буршин озлился вдруг при этой мысли. Два чувства - ненависть к жене, которая, наверное, изменила ему, и нежность к детям - обуяли его одновременно.

Он вышел из купе и пошел по вагону, нервный, нетерпеливый. Он испытывал сейчас какое-то новое, большое, горячее чувство, какого не испытывал никогда в жизни, даже в тяжелые дни хандры, когда думал о детях, когда мечтал о них.

Все в жизни он очень быстро забывал. Забыл свою мать-кухарку, которая жила и умерла в Коломне. Привык к им же выдуманной версии, что мать его, помещица, живет в Калуге. И никогда за всю свою жизнь не вспомнил как следует настоящую, родную мать.

Он не был сентиментален, нежен, слезлив. Он был самостоятелен, решителен и жесток. И чувство одиночества никогда не угнетало его, вероятно, потому, что он всегда был крепко убежден в неистребимости сил своих, верил в бесконечность жизни своей и в свое превосходство над людьми, хотя бы над этими людьми, что идут с ним рядом, занимаются его профессией, его ремеслом, - перед ворами.

Он всю жизнь был вором профессионалом, как бывают люди бухгалтерами, слесарями и плотниками. И всегда считал свою профессию законной, неумирающей, а в рискованности ее находил особое удовлетворение.

Он жил так долго, десятки лет. И вдруг почувствовал страшную усталость.

В зеркале увидел однажды свои седые волосы, проступившие в курчавой и густой еще шевелюре. Буршин увидел свое изображение в старости. Увидел себя в будущем - дряхлым и немощным, с лицом, оплетенным сеткой морщин.

И именно в этот день, перед зеркалом, Буршин впервые подумал о тихой жизни. Именно в этот день он особенно нежно вспомнил о детях. И даже о матери своей вспомнил. Искал теперь новых, прочных, вечных связей с жизнью. Искал бессознательно, тревожно. И неудержимо старел.

В вагоне ему захотелось вдруг поговорить с кем-нибудь, рассказать о сыне, может быть, даже спросить совета. Но в вагоне ехали чужие люди, занятые своими делами. Ехали поляки, немцы, какой-то длинный, сухой англичанин.

Буршин молча побродил по вагону и вернулся в" свое купе.

Хорошо бы ему сейчас сесть во встречный поезд, собрать дома вещи и поехать к детям. Он представил себе весь путь до настоящего дома, через леса и овраги, через болота и реки, мимо строгой охраны с той и другой стороны.

Этот путь несколько не пугал его. Однажды он уже проделал этот путь. И пошел бы опять, несмотря на все трудности. Но только не сейчас. Сейчас он едет по "делу".

Буршин всегда серьезно относился к своим "делам". Считал себя аккуратным человеком и гордился этим: раз сказал - да, значит, да, раз сказал - нет, значит, нет.

Поездку свою он теперь оправдывал также тем, что это его последняя поездка на "дело". Он ехал и всю дорогу, волнуясь, думал о детях и особенно о сыне, чей снимок видел в "Известиях". Интересно, какой он, его сын? Высокий, широкоплечий, сильный, в отца? Или худенький, как мать? Нет, наверно, высокий, большой. Не может быть, что худенький. Не может быть...

Ночью поезд остановился на маленькой станции.

Буршин вышел из вагона. На перроне его ждали два связчика, два похожих друг на друга господина в беретах, какие носят чаще всего французские художники. Они сразу же узнали Буршина, подошли. Они

встречали его, как знаменитого профессора, который прибыл, чтобы сделать сложную и срочную операцию тяжелобольному. Они уже все подготовили. Егору Петровичу остается только взломать, точнее говоря - вскрыть сейфы.

Буршин, величественный, в толстом драповом пальто, в мягкой шляпе, с палкой, украшенной позолоченной головой змеи, неторопливо пошел по перрону.

Один связчик суетливо бежал впереди. Другой на почтительном расстоянии шел за Буршиным. Они охраняли его.

В воровской гостинице, иначе говоря - в "малине", подали прекрасный ужин с вином, с русской водкой. Но Буршин не стал ужинать. Он никогда не ест перед работой. Этому учил его еще Гржезинский.

Он просто выпил два лафитника водки, закусил моченым яблоком и попросил крепкого чая с лимоном. Потом тщательно осмотрел инструменты, одобрил их. И они пошли - он и два связчика. Связчики несли инструменты.

В городе, на главной улице, горело несколько тусклых одиноких фонарей. Над городом висело черное небо. И под небом этим, пасмурным и тяжелым, незнакомый серенький город выглядел тревожно.

Впрочем, тревожно он выглядел, может быть, потому, что настроение у старого вора в эту ночь было на редкость подавленное и вялое. Мысли о детях, взволновавшие его в вагоне, продолжали гнездиться в мозгу и не давали сосредоточиться.

Будто сквозь дрему он слышал слова связчика, шедшего сейчас рядом с ним и вполголоса излагавшего ему важные подробности. Буршин улавливал только отдельные слова и пристально вглядывался в темную перспективу улицы, точно ожидая, что вот сейчас кто-то страшный выйдет навстречу ему из темноты.

Но на улицах не видно было прохожих. Было тихо-тихо. И в тишине вдруг раздался странный, металлический смех.

Буршин вздрогнул. Перед ним, как привидения, возникли две женщины в широких шляпах. От неожиданности он даже остановился, но в то же мгновение понял, что это проститутки, грубо оттолкнул их, одну ударил палкой по заду и, провожаемый их визгом, пошел дальше.

Однако настроение его от этой, в сущности, обыкновенной встречи почему-то еще более ухудшилось.

"Не выспался я, что ли?" - подумал он, привыкший все объяснять простейшими причинами. На минуту заколебался. Не отложить ли?

По опыту он знал, что при таком настроении заниматься опасным

делом нельзя.

Но в этот момент они подошли уже к банку.

У банка Буршина встретили еще три связчика. Они сообщили, что охрана убрана, сигнализация парализована, все готово. Буршин слушал их рассеянно и тревожно думал: "Чего это такое со мной? Уж не захворал ли я?"

И, думая так, делал все, что нужно. Осмотрел потайной ход, проделанный для него специальными людьми, так называемыми кобурщиками, остался чем-то недоволен, но все-таки снял пальто и, солидно крикнув, полез в узкую темную дыру...

Ближих его сообщников, людей довольно опытных в воровском ремесле, всегда удивляли его спокойствие во время операции, особая точность жестов и эдакая почти хозяйская уверенность, совершенно, казалось бы, неестественная для вора, постоянно думающего об опасности.

Буршин никогда не волновался во время операции. Во всяком случае, волнения его никто не видел.

И на этот раз, войдя в полутемное помещение сейфов, где горела в потолке маленькая матовая лампочка, он аккуратно стряхнул с груди и колен землю, приставшую в потайном ходу, и прежде всего закурил.

Уж это черт знает что - закуривать в такой момент! Дорога каждая минута. Помощники его нервничали. Но в следующее мгновение они уже были убеждены, что так надо, что это шик, необходимый мастеру.

Буршин приблизился к первому сейфу. Он не осматривал его по нескольку раз со всех сторон, как это делают все медвежатники, не кряхтел, не возился вокруг него с глубокомысленным видом. Очень спокойно, как слесарь, пришедший утром к своему верстаку, он разложил около себя инструменты, небрежно снял и бросил в саквояж одни перчатки, надел другие и приступил к делу.

Первый сейф хрустнул и открылся раньше, чем это можно было ожидать.

Буршин подошел ко второму сейфу, к третьему. Он вскрывал их по-разному, разными способами, но с одинаковой быстротой и легкостью, будто показывал фокусы в присутствии почтенной публики.

А лицо у него при этом было печальное.

Наверно, и сейчас, вскрывая сейфы, он думал не о них, а о чем-то другом, далеком. Наверно, он в самом деле заболел, и движениями его на этот раз больше руководил профессиональный автоматизм.

Управляемый этим автоматизмом, он аккуратно собрал инструменты после работы и около одного из сейфов бросил докуренную папиросу и

нож для раскупоривания консервов, что делал всегда, желая подразнить полицию.

Но, уходя через потайной ход, он забыл соблюсти несколько элементарных предосторожностей, допустил неточности, что с ним случалось очень редко, и в результате...

Перед утром, на вокзале, когда он снова принял величественный вид знаменитого профессора, его окружили похожие на певчих птиц суетливые полицейские.

Буршин оказался выше их на целую голову, и публика, собравшаяся в этот ранний час на вокзале, могла видеть его лицо, на котором презрение сменялось удивлением; Уважающему себя столичному вору было глубоко оскорбительно стать добычей провинциальных полицейских.

Но в полиции не знали, что перед ними крупный международный вор, представитель той особой категории воров, для которых во всем мире, во всех полициях мира заведен особый этикет.

Провинциальные полицейские били мэтра, как мелкого вора. Он потерял до суда два передних зуба и получил десять рваных ран.

Потом его судили. Выяснили, что он крупный вор. Приговорили к пяти годам строжайшего заключения. И два года возили по всей небольшой стране, по разным тюрьмам, не зная, должно быть, куда получше, понадежнее посадить.

Эти два года были, пожалуй, самыми тяжелыми в жизни Буршина. Исхудал, изнервничался, поседел совершенно.

Наконец весной ему удалось бежать.

Побег ему устроили связчики. Они же принесли ему приличную одежду, деньги. Для связчиков он по-прежнему был хозяин, начальник, мэтр. Они кормились около него. И думали кормиться дальше.

Но он решил вернуться в Советский Союз.

Во что бы то ни стало. Домой, к детям.

До границы он доехал в поезде. А потом, дождавшись ночи, пошел пешком через границу. Пошел через чащу, по кочкам, по зеленеющим мхам болот. На болотах его кусали комары. Заболел лихорадкой.

И когда его поймали на советской границе, он был уже совсем больной. Его лечили. Две недели пролежал в бреду. Потом поправился.

Прекрасное здоровье, унаследованное от предков, пахавших землю и бивших бурый камень на каменоломнях, спасало его не раз.

После суда, определившего, в сущности, не очень строгое наказание, он был переведен в тюрьму, в одну из старых белорусских тюрем, где он уже сидел когда-то, еще в молодости. И если память ему не изменяет, сидел

даже вот в этой самой камере. Против окна, на правой стороне, стояли его нары.

Нар теперь нет. Но камера осталась такой же, как была, и такой же "глазок" у двери. Правда, стены наново побелены, и в камере стало как будто светлее, чище, просторнее. Вместо нар койки с матрацами.

Изменения, происшедшие в тюрьме, не удивили и не обрадовали Буршина. Он одобрил, конечно, библиотеку и театр. Эти новшества могли смягчить суровый режим. Но все-таки тюрьма, черт бы ее побрал, заведение не из приятных, и не дай бог в нее попадать. Не дай бог вдыхать этот смрадный, будто настоенный на всех отбросах мира воздух, не поддающийся никакому проветриванию, воздух отчаяния и нищеты.

Особенно тяжело в тюрьме вечером, когда, после одиннадцати, камеру замыкают до утра и ключ курлыкает и визжит в замочной скважине. Очень тяжело в этот момент в тюрьме.

Но в этот же момент уголовники начинают как-то сближаться между собой. Общая участь роднит людей. Они вспоминают о своих "делах", рассказывают друг другу свои истории, и тяжкая тоска рассасывается. Людям становится веселее...

Так было всегда. И, вероятно, сейчас так.

Буршин присел на койку, снял башмаки и, по-калмыцки подогнув ноги, заговорил на чистейшем блатном языке.

В уголовном мире всегда были свои лингвисты, свои филологи, свои хранители чистоты блатного языка. Они возмущались, когда в их присутствии начинающий вор путал дрянной базарный жаргон с истинной блатной музыкой. Это разные вещи.

Буршин говорил на чистейшем блатном языке.

Воры, притихшие, сидели вокруг него на койках. Они, казалось, внимательно слушали его.

Потом кто-то засмеялся. И за ним засмеялись все.

Буршин сконфузился. Он не рассчитывал на такой эффект. Не собирался смешить. Он заговорил на блатном языке, чтобы воры поняли, кто сидит перед ними. Не фрайер какой-нибудь, не рогатая кошка. А получилось наоборот. Воры приняли его за чудака. Не поняли его. И он почувствовал себя одиноким среди воров.

Немного погодя он начал спрашивать, чем они занимаются. И получил самые разнообразные ответы. Оказывается, они ничем не занимаются. Они не знают своего ремесла. Удалось украсть - украл. Не удалось - попался. Вот и все. Ну, какие это воры! Это не воры, а барахольщики, рвань, дикари какие-то. Нет ни одного порядочного

человека, который знал бы в совершенстве ремесло фармазонщика или скокаря, громщика или ширмача. Жалкие люди без профессии...

Буршин молча разделся, спрятал башмаки и одежду под матрац и, по-стариковски кряхтя, уснул. Он совершил непростительную ошибку, заговорив с этой шпаной. Он, высокомерный, уважающий себя, самолюбивый Буршин...

Утром его, сонного, потрогал за теплое плечо румяный парень в матросском тельнике. Буршин заворчал. Парень присел на койку, толкнул его в бок, чтобы подвинулся, и спросил:

- Ты чего, отец, будешь делать?

- Спать, - сказал Буршин.

- Ну-ну... Я тебя серьезно спрашиваю. Я бригадир. Ты чего на воле делал?

Буршин вдруг осердился.

- Уйди! Я тебя...

- Ты глаза протри, - посоветовал парень. - Гляди сюда. Я бригадир. Тебя как человека спрашивают... Чего ты можешь делать?

Буршин притих.

Действительно, что он умеет делать? Он умеет вскрывать несгораемые шкафы и сейфы, умеет замечать следы. Кто понимает - это непростое дело. Он занимается этим делом не один десяток лет. Оно кормит его, это дело. Вернее - кормило. И неплохо.

Но едва ли бригадира удовлетворит упоминание об этом деле. Да и выгодно ли Буршину упоминать? Здесь все равно не поймут его. Никто не встанет со своего места, чтобы добровольно уступить его пахану - мастеру, гроссмейстеру воровского ремесла.

Воры выродились. Они утратили свой язык, свои традиции, свое понятие об этикете. В стране произошли какие-то глубокие и сложные процессы, которых не понимает иностранец Буршин. Но он догадывается о них. Он сбрасывает с койки свои большие ноги в заграничных продранных носках и говорит, зевая:

- Я бухгалтер.

Он говорит это неожиданно для самого себя и слегка бледнеет. Что будет, если его здесь, в тюрьме, назначат бухгалтером? Он осрамит себя в первый же день...

Но бухгалтером его не назначили. Эти должности были уже заняты. Буршина, принимая во внимание его нездоровье и возраст, назначили учетчиком в тюремных мастерских. Однако в камере его прозвали "бухгалтером". Ему кричали теперь: "Эй ты, бухгалтер!.."

И - что делать? - Буршин, гордый, строгий, привыкший к почету в воровской среде, покорно отзывался на эту дурашливую кличку. Он вел себя скромно.

Непосредственным его начальником в тюремных мастерских был Адольф Петрович Жлоц, бывший главный бухгалтер лестреста. Он попал сюда за растрату. Он был такой же заключенный, как Буршин. Но он вел себя солидно. Носил белоснежный крахмальный воротничок и галстук, аккуратно проглаженные брюки и выпуклые в золотой оправе очки. В тюрьме он выполнял обязанности помощника начальника мастерских.

Буршину он чем-то напоминал его старого, теперь покойного учителя знаменитого медвежатника пана Зигмунта Гржезинского. Может быть, такой же склонностью к философичности и таким же стремлением к аккуратности во всем - и в одежде и в поведении.

- Острие свое, - говорил он многозначительно, - закон в нынешнее время направляет в первую очередь не против воров, экспроприирующих частных граждан, не главным образом против этих воров, а против шпионов и разных изменников или тех, которых принимают за шпионов. Лично я или вы с точки зрения нынешней юриспруденции особой опасности не представляем. Поэтому нам дается минимальный срок и шанс на перековку...

Не все, далеко не все было понятно Буршину в рассуждениях Адольфа Петровича Жлоца. Даже несколько утомляла этакая витиеватость его речей, но в то же время и нравилась именно витиеватость и слова "юриспруденция", "экспроприация", "минимальный срок". И сам Жлоц все больше нравился.

Буршин заискивал перед ним.

Заискивал не из холуйства, не из низменных каких-то чувств, а исключительно из уважения. Буршин считал его приличным человеком. И профессию, которую представлял такой почтенный человек, он считал приличной. Он любил говорить: "приличные деньги", "приличное пальто", "приличные люди". Бухгалтер - приличный человек. Это все-таки не дворник какой-нибудь, не трамвайный кондуктор. Это серьезное дело. И нет, пожалуй, ничего обидного в этом прозвище "бухгалтер". Работа учетчика кое в чем походит на работу бухгалтера. И книги такие же под руками.

Буршин постепенно привыкал считать себя бухгалтером.

Человек, привыкший чуть ли не с детства жить двойной жизнью, он легко вживался в любую выдуманную роль. Он когда-то легко вошел в выдуманную роль коммерсанта. Он чувствовал себя коммерсантом. Точно

так же он чувствовал себя теперь бухгалтером. Да, он в прошлом бухгалтер. Не шниффер, не медвежатник, а бухгалтер, счетный работник. Понятно?

В тюрьме он ежедневно читал газеты, но из газет было трудно узнать, как живет страна, как живут обыкновенные люди. Больше сообщалось о строительстве, о колхозах, о международных делах.

Международные дела Буршина не интересовали. И колхозы и строительство новых заводов его тоже не могло заинтересовать. В старое время он читал в газетах только отдел "происшествий" и торговые объявления. Теперь ни торговых объявлений, ни "происшествий" в русских газетах не было. Можно было так подумать, что в России уже все настоящие, квалифицированные воры и грабители перевелись. Неужели действительно перевелись?

Вечером однажды Буршина повели вместе с другими заключенными в тюремную баню.

Вымывшись, он долго сидел в предбаннике, ожидая, когда дойдет его очередь на ножницы, чтобы обстричь ногти. До него ножницами пользовался пожилой благообразный мужчина, похожий на дьякона. И с этих ножниц начался у них пространный разговор.

- Значит, прежних строгостей в тюрьмах теперь нет, - сказал Буршин, глядя, как этот благообразный мужчина выстригает перед зеркалом колючие волосы на своих отвислых, будто лопухи, ушах. - Говорят, раньше, при царе, никакие острые предметы в тюрьмах не допускались...

- Кто это говорит? - обернулся к нему благообразный.

- Люди говорят, которые сживали в тюрьмах, - уклончиво и смущенно ответил Буршин, не желая теперь каждого осведомлять о том, что он тоже сживал. - А теперь, смотрите, арестантам выдают ножницы. Не боятся...

- А чего ж бояться-то? Ведь на время выдают, во временное, так сказать, пользование, только в бане. - Благообразный поднял перед зеркалом нос и стал выстригать из него волосы, испытывая терпение Буршина.

Но Буршину некуда было спешить. Здесь, в предбаннике, было как-то веселее, чем в камере. И он с удовольствием сидел на деревянной лавке, приминая босыми ногами солому, которой устлан цементированный пол в предбаннике.

- Я говорю, это хорошо, что нету прежней строгости, - продолжал поддерживать разговор Буршин. - И воров, видать, в России стало меньше...

- Ты откуда, с луны, что ли, упал? - опять обернулся к нему благообразный.

- Не с луны, а из-за границы, - не обиделся Буршин. - Я приезжий, из-за границы...

- Из-за границы? - удивился собеседник. - Ну, тогда, конечно, тебе всякое может показаться. - И, передав Буршину ножницы, присел с ним рядом. - Из-за границы? Не русский, что ли?

- Нет, нормально русский. Раньше жил в России, даже в Москве. Но давно не был. И на многое удивляюсь. Воров в тюрьме как будто не видать. И строгости особой не заметно...

- Строгость - она, видишь ли, не для того, чтобы ее замечали, а для того, чтобы чувствовали, - нравоучительно произнес благообразный. - И кому она положена, ее очень хорошо сейчас чувствуют. Даже мелкому прихватчику, ежели не первый раз попадается, в нынешнее время запросто дают расстрел. Не больно-то разгуляешься. Это с одной стороны. А с другой... видишь ли, какое дело... смысла сейчас нет воровать...

Буршин улыбнулся.

- Оно и раньше-то не было большого смысла, а воровали все-таки...

- И сейчас воруют, - сказал благообразный. - Очень даже сильно воруют, но, однако же, не так, как раньше. В нынешнее время вору уделяют большое внимание. Его поймают и заставляют перековываться. Если сразу не ухлопают, то заставляют перековываться. И в тюрьмах без толку не держат...

- А как же?

- Вот так же. Забирают воров и сразу скопом после суда везут в лагеря по всей державе, где идет строительство. Если вор с головой и с желанием, он может любую специальность приобрести и очень просто выбиться в люди. Вот, допустим, какую ты желаешь специальность?

- Я бухгалтер, - с достоинством представился Буршин. - Если мне бы предоставили должность...

- Предоставят, - заверил его собеседник. - Очень просто предоставят. Сейчас этих счетных работников готовят повсеместно в самом спешном порядке. Я сам работал кассиром в сапожной артели, но получился у меня небольшой конфуз. Взяли мы с председателем из кассы очень неаккуратно двенадцать тысяч денег. Нас тут же и сцапали. На прошлой неделе мне был суд. Дали по смягченной норме пять лет. Теперь жду, куда меня повезут. Кассиром, наверно, больше не поставят, но что-нибудь такое предложат. Народ сейчас повсеместно нужен. Вон какое идет строительство...

- Значит, вы, я так вас понял, не сильно и переживаете, что сюда попали? - как можно деликатнее спросил Буршин. - Вы говорите, если вор с головой и с желанием, он может даже здесь, как я вас понял, пробиться в

люди...

- Это совершенно точно, если ему, конечно, сперва не пробьют его голову. Смотря какая голова и что в ней. Это тоже тут определяют, ухмыльнулся благообразный. - Один и отсюда, из тюрьмы, с деньгами уйдет и даже с большими, - а другой...

- Все вполне понятно, - поклонился Буршин. - Благодарю за разговор...

Этот разговор с вороватым кассиром неожиданно ободрил Буршина и заронил в его сердце большие надежды.

Буршину, в сущности, опять повезло. Особые органы, которым надлежит заниматься проверкой сомнительных личностей, не нашли за ним политических преступлений, опасных для государства. Уголовные же преступления были совершены им внутри страны так давно, что за давностью срока не было законных оснований очень строго наказывать его сейчас. И он два года спустя был выпущен, как говорится, "по чистой", с выдачей нормальных гражданских документов и с небольшим пособием, необходимым для переезда к постоянному месту жительства в Москве.

Из тюрьмы домой он ехал теперь "бухгалтером". На нем была добротная шерстяная толстовка, из тех, что с удовольствием носят пожилые бухгалтеры, хорошие хромовые ботинки и темно-синий, прорезиненный, вполне приличный макинтош.

Все эти вещи он заработал в тюрьме, впервые в жизни честным трудом, работая учетчиком в тюремных мастерских, а потом помощником бригадира.

В Москве стояла теплая, предосенняя погода, когда он вышел из поезда на Белорусском вокзале и деловито зашагал в толпе таких же, как он, приезжих людей. Он только не знал, как ему попасть на Тульскую улицу, какие идут туда трамваи. Милиционер посоветовал ему спуститься в метро. И даже откозырял ему.

На Тульской улице, в Замоскворечье, Буршин без труда отыскал небольшой деревянный дом, в котором жил когда-то, поднялся на ступеньки крыльца и позвонил осторожно.

Навстречу ему вышла высокая девушка, белокурая, стройная, в халате. Она спросила строго:

- Вам кого?

- Буршина Татьяна Федоровна, - сказал смущенно Буршин, - не проживает ли, простите за беспокойство, в этом доме?

- Проживает, - сказала девушка иронически и, улыбаясь, осмотрела его с ног до головы. - Войдите, пожалуйста.

Буршин вошел в полутемный коридор, в тишину старого своего

жилица. Он вошел робкий, растерянный. Снял кепку и долго ненужно мял ее в руках.

Никогда в жизни он не был таким растерянным.

Высокий, красивый парень подозрительно посмотрел на него исподлобья. Это был тот самый парень, чей снимок Буршин видел в "Известиях".

- Я ваш папа, - сказал Буршин. И не узнал собственного голоса.

Парень еще более подозрительно посмотрел на него. А девушка, та, что открывала дверь, переспросила:

- Наш папа?

- Да, - сказал Буршин тихо и, увидев вешалку, повесил свою кепку на крюк.

Из комнаты вышла немолодая женщина. Она в нерешительности остановилась против посетителя, всматриваясь в него. Потом просто, как тысячу раз в повестях и романах, бросилась ему на шею и заплакала, тихо всхлипывая.

И этот плач мгновенно поставил все на свои места.

Буршин снял макинтош, повесил его рядом с кепкой и прошел в комнату. Он испытывал еще некоторую неловкость. Белокурую дочку, такую большую и незнакомую, неудобно было называть на "ты". Да и сын, этот крупный парень с уверенными, мужскими движениями, казался чужим, незнакомым.

В дом свой Буршин вошел, как в сон. Он сел в кресло и не знал, с чего начать разговор. Помолчав минуту, он все же начал и сразу рассказал все. Все, что придумал за это время, сидя в тюрьме. Он ничего не сказал о воровской своей профессии, о тюрьмах, о побоях, о побегах. Он сказал:

- Я работал бухгалтером... Просто работал бухгалтером в одной коммерческой фирме в Польше...

- В Польше? - удивился сын.

- Ну да, в Польше, - подтвердил отец, будто в этом не было ничего удивительного. - В Польше, в городе Варшаве, в небольшой торговой фирме.

- Н-да, - неопределенно произнес сын и еще более подозрительно посмотрел на отца.

- А где Яша? - вдруг спросил отец и оглянулся по сторонам.

- Яши давно нет, - подняла к глазам уголок передника жена. - Яша умер еще в двадцать пятом году. В феврале двадцать пятого года... От скарлатины...

- От скарлатины?

- А как же вы попали в Польшу? - спросила дочка, стоявшая у окна.

- Кто? Я? - повернулся к дочке Буршин, и лицо его порозовело то ли от внезапного волнения, то ли от лучей заходящего солнца. - Видишь ли, какая история, - проговорил он после долгой паузы, - в Польшу я попал случайно. Поехал, собственно говоря, в командировку. Я часто тогда ездил в командировки. Мать вот помнит... Ну и тут поехал ненадолго. А меня там вдруг задержали. Приняли, как я понял, за шпиона, хотели даже посадить в тюрьму. Даже почти что посадили. Потом разобрались, судить не стали, но из Польши не выпустили...

- А потом? - спросил сын.

- Что "потом"? - повернулся к сыну Буршин.

- А потом - выпустили?

- Не то что выпустили, Мне самому пришлось бежать, хотя я занимал там впоследствии уже вполне приличную должность. Я же говорю, я работал бухгалтером...

- Так, так, - сказал сын, невесело усмехнувшись, и непонятно было, верит он словам отца или в чем-то сомневается.

- Вот так, - усмехнулся и отец, пожав плечами. - Одним словом, принял я за эти годы, как говорится, казнь господню. И там поляки меня преследовали, и тут я сразу же ввалился в неприятность. На границе меня чуть не убили, да и потом пришлось отсидеть в тюрьме, пока разобрались у нас, что такое я из себя представляю. На старости лет, вот видите, пришлось отсидеть в тюрьме в своем же родном отечестве...

- А в какой тюрьме, в каком городе? - опять спросил сын, но уже без усмешки, сочувственно.

- В двух тюрьмах я сидел, - вздохнул отец. - Последние месяцы я находился в Минске, в минской тюрьме...

- В одиночной камере?

- Нет, зачем! - будто растерялся отец. - Я в общей сидел, со всеми. Да и не все время сидел. Днем-то мы работали в мастерских. Щетки делали, умывальники, замки. Всякую мелкую работу исполняли. Я-то, правда, и в тюремных мастерских работал бухгалтером. По старой своей специальности. Одним словом, занимался учетом. Учетная работа...

- Это еще хорошо, - сказал сын.

А дочка вздохнула. И жена вздохнула.

- А Яша, значит, умер? - сказал отец. - Жалко Яшу. Ему бы сейчас было...

Но Буршин так и не успел подсчитать, сколько сейчас было бы лет его сыну Якову.

В комнату, не постучавшись, твердым шагом вошел в макинтоше и в шляпе чернявый молодой человек.

Буршин заметно встревожился, увидев незнакомого. Но тут же сразу выяснилось, что это его зять, муж дочери. Они недавно поженились, на той неделе.

- Жалко, я опоздал на свадьбу! - уже развеселился Буршин, здороваясь с зятем.

Зятю наскоро пересказали печальную историю тестя, только что тут рассказанную. И зять присел на стул, готовясь слушать ее продолжение. Он внимательно и удивленно смотрел на тестя черными выпуклыми глазами.

Буршин должен был еще объяснить причину своего длительного молчания. И он объяснил:

- Вы понимаете, я написал вам три письма. Вы мне не ответили. Ну, я решил, что вы переехали. И больше не писал...

Это было наивное объяснение, но оно как будто удовлетворило семью.

Только зять сказал Буршину:

- А я так считал, что вас и в живых уже нет...

Буршин печально улыбнулся.

- Я сам не надеялся, что выживу. Но вот выжил. Теперь все хорошо...

И в самом деле все было хорошо.

У Буршина были правильные документы. Он мог быть спокоен, что его не пригласят теперь в уголовный розыск. Он свое отсидел. Он говорил, что вот-вот поступит на службу, только бы ему вылечиться от этой проклятой болезни, от этой... малярии.

Жена накрыла на стол.

Буршин увидел плоское блюдо с синими цветочками, высокий голубой молочник, чашку с лепными птичками - давно знакомую ему посуду, приобретенную еще перед свадьбой, и испытал приятное волнение, как при встрече с живыми существами.

"Посуду сберегла, - подумал он про жену и почувствовал к ней еще большую нежность. - Хозяйка!"

Он сидел за столом по-домашнему, в нижней рубашке, ел суп и поглядывал исподлобья то на жену, то на детей, то на зятя и опять на детей. Дети-то какие большие, видные! Неужели это его дети?

После обеда он прилег отдохнуть.

А когда проснулся, ни зятя, ни детей уже не было. Был вечер. В комнате было тихо. В углу, под лампой, сидела жена и починяла его толстовку.

Буршин спросил:

- В ребята где?
- Ушли, - сказала жена. - Ваня пошел на собрание, а Надя с мужем - в театр.
- Мужа-то ее как зовут?
- Анатолий. Он же тебе сразу сказал...
- Я что-то не расслышал... Значит, Анатолием его зовут? Это хорошо. А чем он занимается?

- Он в аптеке работает.
- В аптеке? Ну что же. Это тоже ничего...
Буршин встал, умылся и сел около жены.

Казалось, после стольких лет отсутствия он должен был найти какие-то особенные слова для разговора с женой. Но слов таких не было. Он говорил о своей болезни, этой - как ее - малярии, и ему было самому противно слушать себя.

Никогда он ничем не болел и не любил говорить о болезнях. А тут такой разговор... Будто поговорить больше не о чем! Однако оборвать разговор почему-то было трудно. Он тянулся никчемно и долго.

Наконец жена начала рассказывать, где она работает.

В это время пришел Иван и вскоре Надя с мужем. Они пришли оживленные, веселые. Поели что-то на кухне и сразу же легли спать.

А родители все сидели и беседовали ни о чем.

Было у них, у родителей, что-то очень важное, что-то главное, как казалось им самим, о чем следовало бы рассказать друг другу. Но это главное как-то не высказывалось.

Буршин думал о женщинах, встречавшихся ему в разное время на его длинном пути. И сейчас ему казалось, что жена думает о них же и, может быть, хочет спросить его о них, но только не решается.

А жена, пожилая женщина, испытывала неловкость, вспоминая сейчас завхоза овощного треста. Ведь завхоз в свое время и на службу ее устроил кассиршей в магазин. Она могла бы замуж за него выйти, если б не стеснялась в свое время детей. Ведь она была молодая женщина, а муж ее ушел неизвестно куда. Ну кто же знал, что он вернется, вот так, неожиданно?

И женщина, уронив шитье, внезапно заплакала. Мужчина наклонился к ней. Он не спрашивал ее о причине слез. Он просто гладил ее по голове и говорил, почему-то робея:

- Ну, Таня, Таня...

Мужчина чувствовал себя виноватым. Женщина же жалела о чем-то. И оба казались друг другу то близкими, то чужими.

Наконец мужчина сказал простую фразу:

- Ну что ж, Таня, что было, то прошло.

И обнял женщину.

Утром Буршин проснулся позже всех.

В квартире уже никого не было. Все ушли по своим делам. На столе ему был оставлен завтрак. Он поел и тоже пошел.

Идти ему, правда, было некуда. Он просто пошел по улицам. Город, знакомый ему с детских лет, удивлял его новизной, и почему-то, глядя на прохожих, он снова испытывал странную, легкую неловкость, как и дома, в родной семье.

Но это скоро прошло.

Буршин начал осваиваться.

В семье пока не нуждались в его заработке. Жена работала кассиршей в магазине. Сын зарабатывал около четырехсот рублей на заводе. Дочь училась и получала стипендию. Отец ходил в поликлинику, лечился, в ту самую поликлинику, которую указал ему зять-аптекарь.

- Это сейчас для вас, папаша, самое главное - поддержать свое здоровье, - сказал зять. - Ни о чем ином вы пока не думайте...

В поликлинике однажды Буршин встретил старого знакомого. Это был очень известный когда-то вор, фармазонщик. Он делал теперь уколы больным. Буршин подошел к нему и спросил:

- Не узнаешь, Григорий Семеныч?

- Узнаю, - сказал тот. - Егор... Отчество забыл...

- Петрович... А вы тут кем?

- Я лекпом.

Буршин наклонился к нему и спросил вполголоса:

- Я извиняюсь, а старое-то дело как же? Бросили?

- Бросил, - сказал лекпом и сконфузился. - А вы?

- Я бухгалтер теперь...

Больше в эту поликлинику Буршин не ходил.

Он по-прежнему бесцельно бродил по городу и напряженно думал: как же ему быть? Жить на средства жены и детей нехорошо, стыдно. Просить рубль на папиросы у сына унижительно. Воровать?.. Нет, нет, нет! При взрослых детях... Поймают. Позор!.. Поступить на службу? Но куда же он поступит? Бухгалтером его не возьмут.

Пойти чернорабочим "бухгалтеру" неудобно. Все будут удивлены. Нельзя даже сослаться на то, что-для бухгалтера нет работы. Все знают, что бухгалтеров теперь берут нарасхват. Впрочем, так же, как и работников других специальностей. Но у Буршина нет никакой специальности. Что же

делать ему?

И вдруг его осенила такая мысль. Надо достать крупную сумму денег, спрятать ее, тайно поступить на бухгалтерские курсы, а дома сказать, что он служит уже бухгалтером, и в доказательство этого каждый месяц приносить в семью пятьсот - шестьсот рублей или сколько там получают бухгалтеры. Будет не стыдно есть хлеб.

Потом он устроится настоящим бухгалтером и станет честно работать, честно жить, как жена, как дети, как зять, как этот рыжий дьявол из поликлиники, бывший фармазонщик. Такая бандитская морда у человека, а он лекпомом служит, и все его уважают. Больные говорят: "Григорий Семеныч, Григорий Семеныч..." Неужели он, Буршин, хуже этого рыжего Григория Семеныча, неужели он не может бухгалтером стать? Конечно, может.

Но где взять крупную сумму денег?

Буршин вскоре ответил и на этот вопрос: надо вскрыть шкаф. Вскрыть один шкаф, взять деньги, замести следы и больше никогда не возвращаться к этому ремеслу. Забыть его навсегда. Навсегда забыть.

Однако это не простое дело - вскрыть шкаф. Нужны инструменты, сообщники. Должен кто-то стоять на стреме. Кто же будет стоять?

Домой после бесцельных прогулок он возвращается усталый и рассеянный.

Небольшая квартира, оклеенная старыми обоями, освещенная осенним солнцем, всякий раз представляется ему и своей, знакомой, из которой он, кажется, никуда не уходил, и чужой, увиденной впервые.

Иногда за обеденным столом сидит семья - его жена, дети. Услышав отцовские шаги, они оглядываются и смотрят удивленно, точно не ожидали, что он придет. И особенно удивленно и даже подозрительно смотрит на него сын. Или это только кажется Буршину?

Буршин садится не во главе стола, как полагалось бы отцу, а где-то в сторонке, за самоваром, и сидит молча.

Жена наливает ему чаю и спрашивает: "Не жидкий ли?" Как гостя спрашивает. И это обидно ему. Хотя жена, быть может, и не собиралась обидеть его.

Он пьет чай и придумывает тему для разговора, как придумывал бы гость, случайный гость, пришедший в этот дом впервые.

Иван рассказывает, какие у них дела на заводе, что сказал ему бригадир, и, рассказывая, смотрит не на отца, что было бы вполне естественно, а попеременно то на мать, то на сестру, будто им это более интересно, чем отцу, будто они в его делах больше понимают. Он говорит:

- Помните, я вам рассказывал про Сашку Смирнова? Так его нет теперь. Он перевелся от нас на другой завод - на "Красный пролетарий"...

Буршин не знает этого Сашку. Он, Буршин, похож на человека, который вошел в театр посередине действия и не может понять, что же было до него, никак не может войти в курс событий.

Он хочет рассказать о том, что он видел за границей, он многое хочет рассказать, но это как-то не получается у него. А то, что он уже рассказал в первые дни, когда приехал, не вызвало у слушателей особого интереса. Он это еще тогда заметил по их глазам.

Правда, он мог бы наверняка заинтересовать их, если б рассказал то, что действительно было с ним, то, что он пережил, перестрадал.

Но это нельзя рассказать, это невыгодно ему. И он сидит за столом как посторонний...

Будто сейчас только заметив его присутствие, дочка спрашивает:

- Ну как, папа, тебе нравится Москва? Ведь сильно изменилась? Правда, сильно?

- Сильно, - говорит папа.

Но это слово он как будто выдавливает из себя. Нет, разговор явно не клеится.

Может быть, в этом он сам виноват. Может быть, надо действовать более решительно, самому задавать вопросы. Ведь нельзя сказать, что семья относится к нему враждебно, что она презирает его.

Но у него нет вопросов. Вернее - он не знает, с чего начать вопросы. Слишком долго семья жила без него, и вышло так, что интересы его и семьи стали разными, очень разными.

Например, Буршину совершенно непонятно: почему сын его, окончив среднюю школу, по-прежнему сказать - гимназию, окончив отлично, первым учеником, пошел не в учреждение, где работа чистая и легкая, а на завод, обыкновенным слесарем, и, похоже, гордится этим?

Непонятно ему и многое другое. Но спросить обо всем этом он пока не решается. Будто не пришло еще время спросить.

Жена, оставшись с ним наедине, рассказывает ему иногда о старых знакомых, которые раньше бывали у них. Но эти знакомые не очень интересуют Буршина.

Буршину хочется спросить жену, не знает ли она случайно, где теперь Подчасов. Он несколько раз собирался спросить об этом. И ни разу не решился, будто боясь разоблачить себя.

Обижает его также, что жена за все время ни разу не посоветовалась с ним по хозяйственным делам, не сказала, как думает тратить деньги.

Однако, обижаясь, он сам же оправдывал ее: она давно привыкла зарабатывать свои деньги и тратить их самостоятельно, ведь он денег не дает.

Да, он не дает денег. Может быть, в этом и заключено главное. Может быть, поэтому он и в семье себя чувствует неловко. Ну что ж, надо подождать немного. Он придумает верный способ - и все устроится.

Впрочем, способ этот он уже придумал. Он станет бухгалтером. Он, черт возьми, совсем не хуже этого рыжего дьявола из поликлиники. Он достанет деньги, выучится и станет бухгалтером. Настоящим, приличным бухгалтером. Дебет, кредит, контокоррент...

Думая так, Буршин успокаивал себя. Но что-то невыразимое и тяжелое давило ему на сердце. Он не мог сидеть дома и все бродил и бродил по улицам.

И вот однажды на улице, на Арбате, он встретил наконец Подчасова, Илью Захаровича Подчасова, повара-весельчака, сукиного сына и родного брата Федьки Подчасова, известного громщика, расстрелянного бог знает когда.

Подчасов обрадовался этой встрече. Он раскрыл для улыбки свой огромный, как чемодан, утыканный гнилыми зубами рот и шумно приветствовал Буршина.

Буршин тоже обрадовался. Но проявил сдержанность.

Через полчаса он пил уже водку с Подчасовым. Пил много и, как обычно, не хмелея, но говорил мало, вызывая повара на разговор.

- Плохо, - говорил повар. - Очень плохо. Ну, какая это жизнь...

- Н-да, - соглашался как будто Буршин. И вдруг, между прочим, спросил: - А Чичрин где?

- Вася? Ну где ж ему быть? У себя в Сокольниках. Стучит старик. Ударник.

Буршин задал еще несколько вопросов о Чичрине. Выслушал внимательно. И сказал грустно:

- Знакомств нет. Скучно.

- Каких знакомств?

- Всяких. Человеку для интереса жизни знакомства нужны. Хоть какие-нибудь.

- Это верно, - сказал Подчасов. - Желаешь, я тебя познакомлю с одним человеком?

- Он меня на службу может устроить?

- Свободно.

И Подчасов начал рассказывать о некоем Варове, завхозе института.

Парень вполне интеллигентный. Молодой. Хороших родителей.

- Отец его шубную фабрику держал.

- Меня его отец не интересуется, - сказал Буршин. - А если он завхоз, это любопытно. Я через него мог бы на службу пройти. Мне давно пора поступить на службу. Считаешь, что он может меня устроить?

- Куда угодно, - сказал Подчасов, смеясь и по-кошачьи сощуривая пьяные глаза. - Это такой парень, такой парень...

- Меня дома, наверно, потеряли, - вдруг, как бы встревожившись, сказал Буршин. - Ну, будь здоров, Захарыч. Я к тебе на днях вечером загляну... Спасибо за угощение. Посидел бы еще, да меня дома ждут...

Но домой он не поехал. Он постоял недолго на Смоленской площади, потом спустился в метро и поехал в Сокольники.

Вечер был холодный, январский. Буршин вышел в Сокольниках, поднял воротник и отправился искать Чичрина.

Память не изменила ему. Он легко отыскал в конце Русаковской улицы маленький, укрытый снегом домик в два окна с покрашенными суриком ставнями, постучал в дверь, и ему открыл сам Чичрин.

Хозяин не узнал гостя. Он долго вглядывался в него. Потом сказал:

- Да это никак ты, Егор Петрович?

- Я, - сказал Буршин.

И хмель, теперь только ударивший в голову, подвел его на этот раз.

Без всякой подготовки, он сразу же изложил Чичрину свое дело, чем привел старика в большое беспокойство.

Чичрин снял очки, похлопал слезящимися глазами и сказал, невесело засмеявшись:

- Ну и шутник ты, Егор Петрович! Да кто же теперь такими делами занимается?

- Кто раньше занимался, тот и теперь занимается! - грубо ответил Буршин. - Ты чего, в партию вступил, что ли?

- Я не вступил, Егор Петрович. Но все-таки... Неудобно как-то. Некрасивая вещь. Я на заводе работаю, в инструментальном, меня в ударники произвели - и я вдруг клешню тебе делаю...

- Какие все сознательные стали! - молвил Буршин сердито. - Да ведь ты, старый черт, этот домик-то на мои деньги поставил, на ворованные деньги! Это ты как считаешь?

- Мало что, - сказал старик. - Мало что. - И внезапно плачущим голосом попросил: - Уволь меня, Егор Петрович, пожалей меня, старика...

- Ну, не хочешь - не надо, - сказал Буршин.

И ушел, не прощаясь.

Всю ночь Буршин не мог уснуть. Ну зачем он сказал старику об этих инструментах? Испугавшись, старик пойдет в уголовный розыск и завалит его.

Надо быть дураком, чтобы без всякой подготовки вовлечь человека в преступление.

Это значит - не жалеть и самого себя.

Но раз сделана глупость, не надо ныть, надо исправить ее немедленно.

Рано утром Буршин опять поехал в Сокольники.

В выходной день Чичрин копался у себя во дворе, выдергивал из-под снега куски обгоревшей жести.

Буршин подошел к нему и, не здороваясь, спросил:

- Это чего будет?

- Да вот бабке кастрюлю хочу починить.

- А как насчет инструментов?

- Я же сказал, Егор Петрович, я не могу...

- Не можешь? Ну, это другое дело. Так бы и сказал сразу: "не могу".

Буршин повернулся, чтобы уйти. Он застегивал крючок у воротника и говорил небрежно, не глядя на Чичрина:

- Мне ведь не надо, чтобы ты мне старую клушку делал. Это старо. Техника вперед идет.

Застегнул воротник, вздохнул.

- Мне надо рычаг с ножом американского типа, два рака: один - ходовой, другой - запасный. И все. Это серьезное дело. Не всякий сделает...

- По чертежам, - сказал старик, - любую вещь можно сделать.

Он сказал это так, между прочим, больше из вежливости, чтобы поддержать разговор.

Но Буршин вынул из пиджачного кармана маленький самодельный чертеж и разложил его на завалинке. Чичрин наклонился над бумагой, взгляделся в пунктиры и черные линии и сказал насмешливо:

- Ну, и что же тут хитрого? Подумаешь, американский тип! Я на заводе и не такие вещи делаю... По сложности...

В Чичрине заговорил мастер.

У мастера этого было самолюбие ребенка. И, может быть, больше из самолюбия, чем из других соображений, он вдруг согласился сделать инструмент.

Даже Буршин не рассчитывал на такой успех.

Чичрин делал инструмент две недели по вечерам, при свете керосиновой лампы. Он делал его, увлекаясь самым процессом работы и радуясь, что избежал конфликта с Буршиным. А то, чего доброго, Буршин

рассердился бы, пошел куда следует, заявил, как старик ему раньше раков делал, и старику тогда прямо дорога в тюрьму, за решетку.

Обо всем этом думал старик Чичрин, обтачивая в тисках воровские инструменты. И о старухе своей думал. Как бы она осталась, если б его, например, в тюрьму, не дай бог, посадили? Как бы она осталась?

А Буршин тем временем с помощью Подчасова завязал знакомство с завхозом Варовым. Буршин бывал у него каждый вечер, пил с ним чай и вел философские беседы. Он изучал его.

Изучив же, начал обрабатывать вплотную. Он говорил, что никакой ответственности за соучастие он, Варов, нести не будет. Никто и не догадается даже, что он участвовал.

Да и какое это, в самом деле, участие? Буршин просит за приличное вознаграждение достать ему постоянный пропуск в институт. Только и всего. Все остальное сделает сам Буршин.

Варов хмурил свой узенький, детский лоб и говорил:

- Нет, нет, нет...

Буршин смеялся. Он по-отечески смеялся над неопытным молодым человеком, который упорно отказывается от счастья. Буршин говорил:

- Ну и чудак вы! Вы не завхоз, а трусишка! Ваш папа имел фабрику...

- Откуда вы знаете?

- Я все знаю. Я на три метра вглубь вижу. И вижу, как ваш папа переворачивается сейчас в гробу, недовольный вашим поведением. Ваш папа прожил жизнь в свое удовольствие. Он имел деньги, имел счастье. А вы? Вы говорите, что деньги теперь не нужны. Ну кому вы это говорите?

Варов смущенно молчал.

Буршин пробуждал в нем заглохшую страсть, которая руководила двумя поколениями Варовых.

Наконец Варов сказал:

- Ну хорошо, я попытаюсь...

Назавтра Буршин получил от него долгожданный пропуск.

Варов стал соучастником Буршина. И уж теперь Буршин не просил его, а командовал им, говорил, куда идти, что делать.

Варов беспрекословно исполнял приказания. Он оказался на редкость исполнительным человеком. Он даже точно выяснил, сколько будет денег в институтской кассе в день полочки.

Чичрин изготовил инструменты.

Буршин осмотрел их, принял и сказал:

- Ну, а деньги, отец, подожди. У меня сейчас денег нету...

- Это успеется, Егор Петрович, - махнул рукой Чичрин. - Ты посмотри,

инструмент-то какой...

- Хороший инструмент, - взвесил на руках тяжелый рычаг Буршин.

Чичрин, счастливый, заулыбался.

- То-то! А ты говоришь - американского типу...

Буршин завернул инструменты в газету, принес их домой и спрятал в чулан. Он боялся, что жена, или дети, или, не дай бог, зять найдут их.

И в то же время он испытывал странное желание показать инструменты сыну.

Иван работал слесарем на военном заводе. Он был слесарем седьмого разряда, хорошим слесарем, как свидетельствовали награды и премии, полученные им.

Буршин хотел бы показать ему инструменты и сказать: "Вот, Ваня. Видишь, работа..."

Буршин хотел похвастать перед сыном чужой работой. Хотя бы чужой работой, если нет своей.

И это понятно. Иван почти каждый день приходил с работы возбужденный, веселый и почти каждый день рассказывал о новых своих успехах. Отцу это было приятно. Отец гордился сыном и завидовал ему. Он завидовал и жене, и дочери, и зятю, которые, возвращаясь домой, обязательно рассказывали что-нибудь о своих делах. И дела волновали их. Они могли бесконечно говорить о своих делах.

А Буршину не о чем было говорить. Не мог же он посвящать семью в свои преступные замыслы! Не мог рассказать о своих надеждах. Но ему очень хотелось рассказать что-нибудь о себе, похвастать чем-нибудь реальным.

В семейной жизни тоже надо иметь успех. Буршин этого успеха не имел. И это угнетало его. Угнетало его также сознание, что он ест не свой кусок хлеба, что он не вносит свой пай в общий семейный котел.

Упрямый, уверенный в себе, слегка жестковатый в своих отношениях с соучастниками, дома он превращался в тихого, робкого, незлобивого человека. И по временам ему думалось, что сын, такой активный, полнокровный, здоровый человек, должен презирать его за бездеятельность.

Но сыну казалось, что отец все еще нездоров. Он спрашивал участливо:

- Ну как твое здоровье, папа?

И даже в этом невинном вопросе отцу мерещилась насмешка. Он опускал голову и исподлобья смотрел на сына. И сын исподлобья смотрел на отца. Не сердито, не враждебно, а так просто, по врожденной привычке

смотреть исподлобья.

Потом отец говорил:

- Ничего. Подожди. Я поправлюсь. И ты посмотришь, как у меня дела пойдут...

И он нетерпеливо ждал этих хороших дел, этого счастливого времени, когда он будет уравнен во всех правах с семьей - с женой, с дочерью, с сыном, когда он станет таким же, как они, работающим человеком и сможет с таким же азартом рассказывать о своих делах.

Однако прежде всего он считал необходимым вскрыть шкаф. Вскрыть шкаф, взять деньги - и концы в воду.

Операций такого рода он проделал в своей жизни около трехсот. Но эту, последнюю операцию он считал самой серьезной, самой решающей. От нее зависела вся его дальнейшая жизнь.

И он готовился к ней долго и тщательно.

Наконец все было подготовлено.

Буршин вышел из дому поздним вечером, в половине двенадцатого, сел в трамвай и поехал к институту, где находился облюбованный им несгораемый шкаф и где служил его соучастник Варов.

У входа в институт швейцар остановил его, спросил пропуск.

Буршин порылся в карманах, достал красную книжечку и показал швейцару.

Потом он беспрепятственно поднялся на третий этаж и здесь разбудил уборщицу.

- Слушайте, - сказал он уборщице, - я тут, может быть, стучать буду, так вы того... не пугайтесь. Я шкаф починяю...

Уборщица сказал, зевая:

- Пожалуйста, я не пугливая...

И опять легла спать.

А утром несгораемый шкаф в директорском кабинете оказался вскрытым. Из него похищена была крупная сумма денег. Злоумышленник ушел в неизвестном направлении. И метель замела его следы...

Ульян Григорьевич Жур пил чай, как лекарство, страдальчески морщась, и угрюмо смотрел в окно на метель. Был март, первые числа марта. Хлопья снега ложились на переплет окна.

Ульян Григорьевич хандрил. Все-таки ему почти что под пятьдесят. И когда не поспишь трое суток подряд, это чувствуется сразу. В голове шум. Ноги ослабли. Во всем теле глухая боль. Уж не простудился ли?..

Жена спала в соседней комнате, завернувшись в стеганое одеяло. Было слышно жаркое ее дыхание.

Ульян Григорьевич умрет от простуды. Его увезут на кладбище, похоронят и забудут, может быть, на следующий день.

А жена вот так же будет спать до одиннадцати часов, получая приличную пенсию за мужа, который умер, не выспавшись. Ни разу как следует не выспавшись за всю свою длинную жизнь.

Даже в доме отдыха его одолевало беспокойство, и он просыпался раньше всех. Может быть, у него болезнь какая-то особенная, страшная. А полечиться вот некогда. Ну буквально некогда. Все дела, дела, дела...

- Да ну их к черту! - сказал Ульян Григорьевич.

Домработница, стоявшая у стола, вздрогнула.

Ульян Григорьевич, задумчивый, прошелся по комнате. Потом сказал домработнице:

- Даша! Позови мне доктора с Собачьей площадки. У меня, понимаешь, грипп... Без температуры...

- Сейчас, - сказала Даша, вытирая передником руки. - Я сию минуту, Ульян Григорьевич. Только чашки помою.

Зазвонил телефон, Ульян Григорьевич снял трубку.

- Ну, еще чего такое?

- Грабеж, - сказал дежурный.

Ульян Григорьевич рявкнул:

- Машину!

- Пошла к вам, товарищ начальник, - сказал дежурный.

Жур внимательно выслушал подробности, записал адрес, повесил трубку. Потом он, согнувшись, подтянул голенища сапог, протер сапоги до блеска черной бархоткой и, выпрямившись перед зеркалом, критически осмотрел себя. Побриться бы надо...

Он вынул из столика бритву, мыльницу, мыльный порошок, налил в жестяной стаканчик кипятку из самовара и, стоя перед зеркалом, начал бриться. Он брился ровно полторы минуты.

Даша сказала восхищенно, как всегда:

- До чего быстро...

- Привычка, - сказал Жур хвастливо. - Я, брат, человек военный...

И он действительно становился военным в такие минуты. Всякое новое дело возбуждает его и как будто молодит.

Ульян Григорьевич достает из большой коробки десятка два папирос, укладывает их в металлический портсигар. Потом вынимает из заднего кармана брюк маленький браунинг, передергивает его, вгоняет один патрончик в ствол, защелкивает предохранитель и снова засовывает браунинг в задний карман.

Все у него предусмотрено, рассчитано, проверено. Даже в мелочах он ведет себя как профессиональный сыщик. И людям, знающим его, кажется, что он рожден для того, чтобы быть сыщиком.

Ульян Григорьевич, однако, придерживается на этот счет другого мнения. В тысяча девятьсот двадцатом году, весной, когда ему выписывали путевку на работу в уголовный розыск, он сильно волновался. Он говорил, что дело это ему совсем не по душе, что он, собственно говоря, молотобоец, что он всегда любил кузнечное дело и никогда не собирался ловить бандитов или этих самых... как их... ширмачей.

Не считаясь с этим, ему все-таки выписали путевку, и он примирился со своим новым положением. Он успокоился и стал только более угрюмым, "чем был. Никто никогда впоследствии не слышал от него никаких жалоб.

У крыльца загудел автомобиль.

После телефонного звонка прошло шесть минут. Ульян Григорьевич надел пальто, шапку с ушами и вышел на крыльцо.

Даша крикнула:

- А доктор-то как же?

- Завтра, - сказал Ульян Григорьевич, садясь рядом с шофером, и невесело улыбнулся. - Хотел хоть один денек отдохнуть, отоспаться. И не удалось, не вышло...

У большого, ширококрылого, с модными теперь колоннами здания он вылезает из машины и поднимается на третий этаж, где прошлой ночью произошло редчайшее для наших времен преступление.

Подобных преступлений не было в столице почти десять лет.

Ульян Григорьевич здоровается с двумя работниками розыска, приехавшими сюда до него. Потом, сидя на корточках, внимательно осматривает вскрытый шкаф и разглядывает брезент, оставленный вором, странный какой-то буравчик и небольшие клещи.

- Мало, - говорит Ульян Григорьевич. - Мало он оставил... - И хмурит брови. - Это, по-моему, работал опытный медвежатник. Я знаю четырех, которые могли бы так сработать...

И он перечисляет всех четырех.

Один из этой четверки известных медвежатников расстрелян еще десять лет назад. Другой - некий Буршин - много лет назад исчез. Может быть, умер или ушел за границу...

В Москве есть только два бывших высококвалифицированных взломщика, но они давно уже оставили свое ремесло.

Однако кто может поручиться, что это не они взломали шкаф?

Уголовный розыск не имеет права верить на слово. Особенно если есть

серьезные подозрения. А против двух бывших взломщиков подозрения были весьма серьезные.

Ульян Григорьевич извлек из архива их фотографии и читал коротенькие справки об их старых делах.

В прошлом это были крупные воры.

В криминалистическом музее выставлены орудия их бывшего производства. Выставлены были когда-то и портреты с объяснительными надписями и фамилиями.

Но лет десять назад они бросили воровское ремесло и пошли работать. Они стали порядочными людьми. И поэтому их фамилии в криминалистическом музее закрашены, а портреты убраны.

Нельзя человеку, сменившему воровское ремесло на честный труд, напоминать о его прошлом.

Однако у Жура не может быть уверенности, что эти парни, которым нельзя напоминать об их прошлом, сами не вспомнили своей старой профессии. Жур обязан проверить, виновны ли его бывшие клиенты.

Дня четыре он работал с большим напряжением, прежде чем напал на малюсенький след. И еще дня два сомневался: уж так ли важен этот след и стоит ли дальше копать в порыжевших от времени папках архива старой, царской сыскной полиции, если известно, что люди, на которых могло бы пасть серьезное подозрение, давно умерли, уехали или увезены в специальные лагеря?

Однако, сомневаясь, Жур все-таки продолжал работать, наводить справки и перелистывать архивные дела, в которых были запечатлены деяния высококвалифицированных шнифферов, или, иначе говоря, медвежатников специалистов по вскрытию сейфов и несгораемых шкафов.

У Жура было твердое убеждение, что это "дело" в институте сделал не новичок, не случайный вор, а именно крупный, опытный медвежатник. И Жура поддерживал в этом убеждении старейший работник московского уголовного розыска - Фомичев Виктор Карпович. Он первый назвал фамилию - Буршин.

- Ох, это был мировой гад! - сказал Фомичев.

- Именно был, - невесело улыбнулся Жур. - А где он теперь?

- Это уж надо выяснить, - пожал плечами Фомичев.

Выяснить это было не просто. В адресном столе назвали адреса четырнадцати Буршиных. Трое из них имели одинаковые имена и отчества Егоры Петровичи. Требовалось определить, кто из них еще в старое время занимался взломом несгораемых шкафов.

- Буршин, Буршин... Неужели он где-то сохранился до сих пор? -

говорил Жур. - Было у меня еще в Сибири такое дело с сейфами. Тоже был замешан Буршин. Ну да, Буршин. Но что-то тогда не подтвердилось. Отпустили мы его... Мужчина лет за сорок, рыжеватый... Он теперь, пожалуй, старичок...

- Это старичок и работал, - подтвердил Фомичев. - Молодому такое не сделать. Чистая работа. И нахальная. Кожаную перчатку или нарочно бросил, или обронил. А работал все время в перчатках. Следов от пальцев нигде не видать...

И все-таки след от Буршина остался. Остался его, если можно так выразиться, воровской почерк, позволивший Фомичеву вспомнить не кого-нибудь, а именно Буршина. Именно Буршин всегда работал клешней. Для этого требовалась большая физическая сила. Но силу Буршину не надо было занимать. Силы ему еще хватало. А чтобы не напрасно расходовать ее, он с годами все больше удлинял рычаг клешни, применяя, так сказать, механизацию, облегчавшую этот подлый труд.

И вот до тех пор, пока надо было вспарывать и потрошить несгораемый шкаф, Буршин действовал и осмысленно и деловито. В нем проснулась и прежняя энергия и прежняя ярость профессионального вора, сообщающая всем движениям необходимую ловкость, точность и быстроту.

А затем началась цепь нелепых действий, таких нелепых, какие едва ли допустил бы в подобных обстоятельствах и молодой, начинающий, малоопытный ворюга.

Может быть, это произошло оттого, что Буршин растерялся в последний момент, осознав всю степень угрожавшей ему опасности. Ведь это была в самом деле его последняя кража. На нее он сделал самую крупную ставку. И от ее исхода зависела теперь вся его жизнь, весь остаток жизни. Что будет, если его сейчас поймут, разоблачат?

Буршин вышел из института не так бодро, как вошел. Он словно постарел вдруг еще на одно десятилетие. Руки и ноги дрожали, особенно ноги. И он даже присел на мгновение у входа, чтобы унять дрожь. Что он вдруг струсил, что ли?

Инструменты он сложил в зеленую брезентовую сумку, и она висела у него на плече, а деньги были рассованы по карманам и равномерно разложены за пазухой толстовки, подпоясанной ремнем.

Деньги не радовали Буршина.

Впрочем, он и раньше не радовался деньгам. Вернее, не испытывал восторга при виде денег. Только досадовал, когда их в шкафу или в сейфе оказывалось меньше, чем он рассчитывал, приступая к делу.

На этот раз, на взгляд, денег в шкафу было примерно столько, сколько

предполагал Варов. И главное - деньги в купюрах крупного достоинства удобно были упакованы в большие пачки. Буршину это понравилось. Он не любил возиться с мелочью.

Все, таким образом, сложилось как будто удачно для Буршина. И все-таки он чем-то был расстроен. Наверно, эта внезапная слабость, стремительно разлившаяся по всему телу, опечалила его. Неужели это старость или сама смерть так близко подступила к нему - и в такой неподходящий момент, когда он несет деньги, которые должны, как он надеялся, изменить всю его жизнь? Неужели уж он такой старый и слабый? Неужели и эти деньги не принесут ему счастья?

Буршин так и не смог унять дрожь в ногах. Они дрожали и подкашивались, когда он вышел на высокое, многоступенчатое крыльцо.

Здесь, у крыльца, он хотел что-то сделать. Что-то важное ему надо было сделать. Но он не мог вспомнить, что, и стал медленно спускаться с крыльца.

Издали у фонаря он увидел Подчасова.

Подчасов, сгорбившись и засунув руки в карманы пальто, ходил взад-вперед.

"Дурак какой! - беззлобно подумал про него Буршин. - Зазяб и не видит, что я вышел. Старый дурак! А вдруг я не окликну его и уйду - он и будет вот эдак до утра тут ходить. Совсем выжил из ума, малохольный".

Буршин спустился с крыльца. И Подчасов сию же минуту приблизился к нему. Но Буршин не движением, а только глазами, строгим взглядом, отогнал его от себя и опять подумал: "Какой дурак! Уже обрадовался. Какая жадность в людях!"

Подчасов подождал Буршина на той стороне улицы. Но Буршин не подошел к нему, побрел по тротуару вдоль многооконного здания, потом направился к замерзшей реке.

Вот тут только он вспомнил, что ему надо было сделать у крыльца. Ему надо было посыпать свои следы нюхательным табаком из пачки, что лежала в боковом кармане пальто. Он специально приготовил эту пачку, чтобы заставить розыскную собаку чихать, когда ее пошлют по его следу. Как же он забыл об этом?.. Он же вчера еще купил эту пачку. И не так просто было ее купить. Почему-то теперь редко продают нюхательный табак. А табак этот очень хорош для посыпки следов. Другая собака так расчихается, что и не захочет дальше идти.

"Хотя все это пустяки, - уныло подумал Буршин. - При чем тут собака? Не в собаках теперь дело. Дело сделано, а как дальше все пойдет, никто этого не знает. И незачем про это думать..."

Тяжелое равнодушие ко всему вдруг окутало мозг Буршина. Он, как пьяный, брел по заснеженному берегу, и мысли его путались, терялись, а слабость все разливалась по телу.

Захотелось закрыть глаза и лечь прямо в снег, в сугроб, зарыть голову. Но он все-таки удержал себя от этого желания и продолжал шагать по берегу, еле передвигая ноги. Какая-то нестерпимая тяжесть давила его. И он не сразу обнаружил эту тяжесть. А когда обнаружил, обозлился. Это, оказалось, ремень от сумки с инструментами режет ему плечо. И груз-то как будто небольшой, а плечо просто отнимается. Ослабел Буршин, сильно ослабел, отбегал, отворовался. А для чего и куда он тащит эти инструменты? - Разве он и дальше собирается вскрывать шкафы?

- Да ну это к черту! - вслух сказал он и, опять оглядевшись, скинул с плеча ремень, так, что сумка с грохотом упала на каменные плиты прибрежного тротуара.

Буршин наклонился над ней и, в последний раз осмотрев инструменты, стал бросать их через парапет на лед реки. Он видел, как, скатываясь по откосу, они прочерчивают тонкий след в снегу. Затем он бросил через парапет и сумку.

Подчасов стоял в нескольких шагах от Буршина и опасливо смотрел на него, как на сумасшедшего. И в самом деле Буршин вел себя как сумасшедший. С чего это все вдруг?

В руках у Буршина остался только длинный рычаг, и он зачем-то долго нес его. Он бросил его в сугроб уже на том берегу, когда перешел мост.

Рычаг этот вскоре нашли сотрудники уголовного розыска. На нем сохранились отпечатки пальцев Буршина. Отпечатки его пальцев сохранились, впрочем, и на других инструментах, также найденных вскоре.

Не было отпечатков только на месте преступления, где Буршин действовал в перчатках и где оставил одну перчатку - то ли по рассеянности, то ли нарочно, чтобы позлить тех, кто поведет по его следу собаку.

Пачка же с нюхательным табаком так и осталась нераспечатанной в кармане у Буршина.

Раньше всего он поехал с Подчасовым на трамвае к Варову в Марьину рощу.

Здесь Буршин аккуратно сосчитал украденные деньги, честно разделил их между участниками, взял свою часть и поручил ее спрятать Подчасову.

У Подчасова же он прожил три дня, не желая впутывать в грязное дело семью в случае каких-нибудь непредвиденных неприятностей. Предвидеть

все никак нельзя.

Подчасов служил ему так же, как раньше. Он старался, чтобы гость не чувствовал никаких неудобств за время вынужденного сидения в его квартире. Он сам готовил для него обед, бегал за водкой.

Водки Буршин выпил за эти три дня очень много, но ни разу не был пьян. Водка не могла прекратить напряженной работы его мозга, она только обостряла его мысли.

Буршин обдумывал свое положение. Он даже чертил какие-то каракули на бумаге.

Подчасов ходил на цыпочках.

Вдруг Буршин сказал:

- Ну-ка, дай мне бритву, Захарыч!

Подчасов дал ему бритву.

Буршин побрился и пошел домой.

Домой он пришел очень веселый. Таким веселым дома еще не видели его никогда. Он улыбался, потирал руки, будто собираясь бороться. Потом рассказал, что был за городом, искал работу, встретил старого приятеля и загулял с ним немножко, по-стариковски. Приятель пообещал его устроить бухгалтером на одном подмосковном заводе...

- А мы думали, ты под трамвай попал, - сказала дочка.

- Я-то? - удивился Буршин. И захохотал. - Да разве я могу под трамвай попасть? Вы просто плохо знаете вашего папку! Ваш папка ни в огне не горит, ни в воде не тонет.

- Я хотел уж в милицию заявить, что пропал человек, - сказал сын угрюмо. - Но мама говорит: "Подождем еще денек. Может, он сам объявится или нам сообщат, если что-нибудь серьезное с ним произошло. Всякое ведь теперь бывает..."

- Это хорошо вы сделали, что не заявили, - сказал отец, и лицо его потемнело на мгновение. Но потом он опять стал улыбаться.

На столе весело запел самовар.

Буршину вдруг захотелось купить ребятам торт. Самый большой, самый дорогой. Но он сейчас же раздумал: ребятам покажется подозрительным, что у отца завелись такие деньги. Нет, лучше подождать...

Вот устроится на курсы, скажет, что устроился на работу, и тогда можно будет слегка шикнуть. Бухгалтер имеет право шикнуть. Ведь он получает не только зарплату, но и премии...

Буршин представил себя в роли удачливого бухгалтера.

И весь вечер жил в этой выдуманной роли. Потом лег спать. Во сне он видел большую темную комнату и себя в этой комнате. Он не мог из нее

выйти. Шарил по стенам, спотыкался о какие-то брусья, поднимался, падал и опять начинал шарить по стенам.

Наконец кто-то постучал в дверь. Значит, дверь в этой комнате есть. Значит, можно выйти. Буршин обрадовался и пошел на стук. Стучали очень сильно, и он проснулся от сильного стука во сне.

Проснулся и снова услышал стук. Стучали в двери его квартиры.

Буршин встал и в одном белье пошел к двери. Он спросил:

- Кто тут?

Ему ответили:

- Уголовный розыск.

Буршин сказал:

- Одну минутку...

И вернулся в спальню, чтобы одеться. Все спали. Он торопливо надел брюки, толстовку, ботинки и крадучись вышел из спальни в коридор. Все по-прежнему спали. Он сказал еще раз у двери:

- Я сию минутку.

И надел калоши, пальто и кепку.

В тамбуре его ждали два человека. Буршин вышел к ним и негромко, стараясь придать своему голосу твердость, сказал:

- Извините, я не расслышал: вам кого?

- Буршина, - сказал один молодой человек и зажег электрический фонарик. - Мы из уголовного розыска...

- Я Буршин, - сказал Буршин. - Что вам будет угодно?

- Будьте добры, - сказали оба молодых человека почти одновременно и притронулись к его рукавам.

Буршин покорно поднял руки. Его обыскивали. Он говорил растерянно:

- Не понимаю: в чем дело? Я не спросил у вас даже документов.

Документы ему были показаны. Сотрудники розыска вошли в квартиру и начали обыск.

Буршин отдал бы все, чтобы сейчас не зажигали свет в его квартире. Он безропотно пошел бы под расстрел, лишь бы дети не знали о его позоре. Он сделал бы что угодно. Он ведь нарочно оделся и вышел в тамбур, чтобы никто не услышал его разговора с сотрудниками розыска.

А сейчас проснулись все - жена, дети, зять.

В квартире шел обыск. В шкафу звенела посуда, посторонние люди перебирали в сундуке вещи, заглядывали под кровать, перебирали даже землю в большом цветочном вазоне.

Буршин в пальто и в калошах сидел на кровати и мрачно смотрел в

пол. Сын подошел к отцу и растерянно спросил:

- Что это такое?

- Это недоразумение, Ваня, - ответил отец, не подымая головы.

Сын удивленно переспросил:

- Недоразумение?

- Вы поедете с нами, - сказали Буршину.

Он, кряхтя, поднялся с кровати и, по-стариковски шлепая калошами, пошел к выходу. Он был растерян. Он был стар. Он был глубоко несчастен.

Но в машине, на свежем воздухе, он вдруг окреп, собрался с мыслями. Перестал на какое-то время быть отцом, который любит своих детей. Снова стал вором-профессионалом, который знает, как вести себя на допросах, и которого ничем не удивишь.

Жур ждал его в уголовном розыске.

Перед Журом на столе лежало несколько фотографий Буршина. Буршин в молодости - в котелке, в красивом костюме, с тросточкой. Буршин в советское время, в годы нэпа, - в котиковой шапке, в длинной дохе.

Жур извлек в эти дни из архива много "дел", в которых были описаны и манера Буршина и его способ вскрывать шкафы.

Это Буршин всегда на месте преступления оставлял какие-то нелепые инструменты, не имеющие никакого отношения к взлому, но нужные, вероятно, для того, чтобы запутать преследователей. И всегда, для особого воровского шика, он любил выкинуть эдакий фортель - посмеяться над сторожем, положить в разрушенный шкаф арбуз, или сайку, или кусок колбасы.

Жур допрашивал его когда-то в Сибири. И вот довелось встретиться во второй раз.

В комнату вошел высокий пожилой человек в мохнатой кепке и в теплом поношенном пальто.

Жур пригласил его сесть.

- Ну-с, Егор Петрович, здравствуйте...

- Здравствуйте, - сказал Буршин и сел.

- Гора с горой, - улыбнулся Жур приветливо, - как говорится, не встречаются, а люди - они обязательно встретятся. Что это вас не видать было, Егор Петрович?

Буршин ответил что-то невнятное, пошевелился на стуле. Потом сказал:

- Закурить разрешите?

Ульян Григорьевич подвинул ему портсигар.

- Курите...

Но Буршин не притронулся к его папиросам, сказал:

- У меня свои...

И вынул из кармана коробку трехрублевых папирос "Дели".

Эти папиросы были единственной покупкой, какую он сделал самостоятельно на украденные деньги.

Из восьмидесяти тысяч он лично истратил всего три рубля.

Жур достал с подоконника бутылку с кефиром, открыл ее, налил в стакан.

Как бы извиняясь, он сказал:

- У меня с желудком что-то такое. Я постоянно в это время кефир пью... А вам, Егор Петрович, чайку заказать?

- Пожалуйста.

- А может, кушать хотите? Бутерброды можно.

- Нет, спасибо, - сказал Буршин, - я ночью ничего не ем. Чаю - это другое дело...

Подали чай.

Ульян Григорьевич размешал ложечкой кефир в стакане, отхлебнул немного и, хитро прищурившись, посмотрел на Буршина.

- Постарели, Егор Петрович... А? Седина...

- Немножко, - сказал Буршин, наклонившись над стаканом. - Да и вы, гражданин начальник, не помолодели...

- Это верно, - согласился Ульян Григорьевич. - Годы не те...

Помолчали. Ульян Григорьевич пил кефир. Буршин смотрел в стакан, где вертикально плавала чайинка.

- А кепочка эта вам не идет, - прервал молчание Жур. - Вы ведь всегда, как мне помнится, франтом были.

- Это я у сына взял, - конфузливо объяснил Буршин. - У меня летняя...

- Вы ее снимите, - вроде посоветовал Жур. - Тут тепло... А сын-то у вас какой молодец! Говорят, слесарь он... И говорят, хороший слесарь...

- Да, - сказал Буршин и густо покраснел.

- Неприятный сюрприз вы ему подготовили, - как бы нечаянно заметил Жур.

Буршин промолчал. Он пил теперь чай. И со стороны могло показаться, что все это происходит не в уголовном розыске, а в кабинете какого-то обыкновенного учреждения, где случайно сошлись два знакомых.

Об уголовном розыске напоминал только большой стенд у стены, увешанный отмычками, фомками и другими орудиями воровского ремесла.

Буршин допил стакан и отодвинул.

Ульян Григорьевич сказал:

- Ну, давайте, Егор Петрович, поговорим о деле. Рассказывайте, как это было. Все рассказывайте. Секретов у нас с вами нету. Не должно быть секретов...

- Я ничего не знаю, гражданин начальник.

- То есть как же это так? Буквально ничего не знаете? И шкаф не вы ломали?

- Не я. Я такими делами не занимаюсь.

- Бросили, что ли?

- Бросил.

- А работа - ваша. Чистая работа! Это не я один так считаю...

- Я такими делами не занимаюсь.

Жур задумался. Он порылся зачем-то в бумагах, лежавших на столе, будто вспомнив какое-то дело, не имеющее никакого отношения к Буршину. Потом опять сложил бумаги и спросил:

- Это вы серьезно?

- Совершенно серьезно.

Буршин наклонил голову и с интересом стал рассматривать свой теплый шарф.

Ульян Григорьевич смотрел на него.

За окнами была ночь.

На улице горел фонарь.

За дверью, в коридоре, раздавались шаги застоявшегося милиционера. Садиться ему нельзя, милиционеру. По уставу он должен стоять. Устав, однако, разрешает ему ходить на посту. И вот он ходит, нарушая тишину ночи, подчеркивая эту тишину.

Ульян Григорьевич закуривает. Закурив, он хлопает металлическим портсигаром, встает, отодвигает стул и говорит раздраженно:

- Гражданин Буршин!

Гражданин Буршин все еще рассматривает свой теплый шарф.

- У меня такое впечатление, гражданин Буршин, что вы пришли сюда, чтобы морочить мне голову...

- Я никому не порочу голову, - глухо и враждебно отвечает Буршин.

Непонятно, зачем он заматывает шею шарфом. В комнате тепло. И даже более тепло, чем надо.

Жур поворачивает ключ в замке массивного шкафа. Он выкладывает перед вором вещественные доказательства, раскладывает их на столе, говорит:

- Пожалуйста... Ну... Вы думаете, что здесь дураки сидят, которым

жалованье платят, чтоб они в носу ковыряли... А?

Буршин смотрит на стол, на клешню, извлеченную из проруби, на рычаг, напоминающий трость, на кусок брезента...

Ночь проходит. Медленно проходит зимняя ночь. На улице гремят ночные грузовики. В коридоре тихо-тихо.

Буршин делает первую уступку. Уже не отрицает, что вскрывал шкаф. Вот Жур придвигает ему дактилоскопические отпечатки. Ну что ж, запирайтесь, как видно, ни к чему. Нет смысла запирайтесь.

Но Буршин не хочет выдать сообщников. Хоть убейте, не выдаст. Он старый вор. Он знает традиции воровской дружбы. И не изменит этим традициям. Ни за что.

Жур откидывается на спинку стула, вздыхает. Глубоко и сокрушенно. Буршин тоже вздыхает. Жур говорит:

- Эх вы!..

И осматривает вора внимательно, как будто видит его впервые.

- Нехорошо! - говорит он, разглядывая седину на его висках. - Нехорошо, Егор Петрович! Мы же с вами уже немолодые люди. Ну как не стыдно вам так вертеться, врать на старости лет?..

Буршин опускает голову. Он молчит.

Жур опять встает, ходит по комнате.

- У вас дети есть, - говорит он. Он говорит о том, что не имеет никакого отношения к следствию: о детях, о седине, о том, что жизнь изменилась неслыханно, о смысле жизни. - Я не понимаю вас, - говорит он. Вот вы старый вор, я старый сыщик. Вы воруете, я вас ловлю. И все это страшно глупо. Понимаете? Глупо!..

Буршин молчит.

А Жур шагает по комнате.

В уголовном розыске любят его за прямоту характера, за добросовестность в работе.

Но иногда любя посмеиваются. Называют его в шутку проповедником. Говорят, что на допросах он читает проповеди вора.

А попадают к нему на допрос чаще всего рецидивисты, старые волки, выдавшие виды.

Жур, впрочем, бывает и очень строгим на допросах.

Но на Буршина, казалось, ничто не действует.

Он сидел с опущенной головой и курил четвертую, пятую, шестую папиросу. Он признал себя виновным в совершении взлома, но назвать соучастников не хотел.

Ульян Григорьевич раздражал его простотой своей.

В простоте этой Буршин видел несерьезное отношение к себе. Что он, фрайер какой-нибудь, чтобы его агитировали? Он и так все понимает. Попался - сидит. Что дальше будет, покажет время. Но разговаривать его никто не заставит.

Он достает седьмую папиросу и закуривает.

Жур спрашивает:

- А Подчасова тоже не знаете?

- Не знаю, - говорит Буршин.

- А Чичрина?

- Тоже...

- И Варова не знаете?

Буршин отрицательно мотает головой.

По лицу его, непроницаемому, нельзя угадать ни одной мысли. Нельзя понять, на что он надеется.

Вероятнее всего, он думает, что этот простоватый человек в конце концов устанет и отпустит его. Буршин просто хочет спать. Все равно где спать дома или в камере.

Но простоватый человек, по всей видимости, не собирается отпускать его, говорит:

- В таком случае разрешите, я познакомлю вас с этими людьми.

И снимает телефонную трубку.

- Дежурный? - говорит он в телефон. - Будьте добры, товарищ дежурный, пригласите ко мне Подчасова, Чичрина и Варова. Это Жур говорит.

Жур подтянул ремень на серой гимнастерке, пригладил черные, густо обсыпанные сединой волосы.

В комнату входят Подчасов, Чичрин, Варов.

Жур широким жестом приглашает их садиться. Они садятся полукругом против Буршина. У них унылый вид.

Жур говорит:

- Ну что ж, общее собрание шнифферов можно считать открытым. Вы узнаете вашего хозяина? - И показывает на Буршина.

Все молчат. Только Варов поднимается и почти истерически кричит:

- Я, гражданин начальник, жаловаться буду! Я это так не оставлю! Меня вдруг вместе с какими-то ворами...

- Ой, как вы кричите! - говорит Жур. - Это же черт знает что. Здесь же все-таки не сумасшедший дом... Буршин, вы узнаете этих граждан?

Буршин молчит. И все молчат.

Жур подходит к Чичрину.

- Ну, хорошо, - говорит он, - я понимаю: Буршин ломает шкафы, Варов ему пропуск достает, Подчасов стоит на стреме. Им много надо. У них свой план. А тебя-то зачем черт понес? Чего тебе-то не хватало? Слесарь ты...

- Вот именно... Слесарь, - сказал старик и заплакал. - Меня в ударники по всей форме произвели, аттестат дали как самонаилучшему мастеру. Пятьсот рублей в месяц. А я...

Чичрин взглянул на Буршина и заплакал в голос, как женщина.

- Погубил ты меня, Егор Петрович! Погубил... И денег мне твоих не надо, и товару. Погубил ты меня со старухой. Что она сейчас, бедненькая, может производить без меня?..

Потом очная ставка кончилась.

Подчасова, Чичрина и Варова увели.

Жур спросил Буршина:

- Ну, что вы теперь скажете?

- Чисто работаете, - сказал Буршин.

- А вы говорите! - хвастливо молвил Жур.

И после этого краткого диалога беседа приобрела нормальный и даже интимный характер.

Буршин рассказал Журю и про Варшаву, и про варшавские порядки, и про сына своего, и про дочь, и про жену, и про зятя - аптекаря. Рассказал все. И о том, как пожелал быть бухгалтером, как задумал преступление и как совершил его.

Через несколько дней его приговорили к расстрелу.

Приговор не удивил и не испугал его.

Но все-таки ему было обидно. Было обидно, что жизнь прошла страшно глупо, незаметно и неинтересно, что он не смог изменить ее. Не смог устроиться, как хотел, на старости лет, как устроились даже такие, как этот рыжий Григорий Семеныч, бывший фармазонщик, теперь работающий лекпомом в поликлинике. Разве Буршин хуже его? Разве Буршин не мог бы так же сделаться бухгалтером или еще кем-нибудь? Разве у него мало сил?

Сил у Буршина еще очень много. И эти силы всегда спасали его. Приговоренный к смерти, опозоренный, одинокий. "Ты, Егорша, один. Как перст, один", - говорила ему мать, - он сидит в одиночной камере и старается не падать духом. Читает, даже занимается гимнастикой и пробует петь тихонько. Пробует успокоить себя. И это удается ему на какое-то время. Но затем опять начинается мучительное беспокойство.

Беспокойство это особенно тяжело после полуночи.

В камеру проникает лунный свет. И по камере бродит унылый Буршин. Жизнь, большая, прожитая, вспоминается сразу и еще раз стремительно

проходит в воспоминаниях.

Буршин видит себя в детстве - дома, у матери, в Коломне. Он живет на кухне у зубного врача. Носит старые докторские штаны. Они широки ему немножко и длинны непомерно. Он завязывает их где-то у горла.

Но они нравятся ему, эти докторские штаны. Он хвастает ими на улице перед мальчишками и мечтает сам стать доктором, зубным врачом.

Не коммерсантом, не бухгалтером, а зубным врачом мечтал он быть. Все детские годы мечтал. А потом забыл. И вспомнил только сейчас. Вспомнил и еще сильнее пожалел себя.

В коридоре, лязгая винтовкой, ходит часовой. Жизнь проходит. Она прошла уже, волчья, воровская жизнь.

Абрамцево, весна 1937 г.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)